
СОЛНЦЕВА М.В
ЛЮБОВНЫЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Маргарита Солнцева

Любовный метрополитен

https://litres.ru/74700123
SelfPub; 2026

Аннотация

Заместителя начальника метрополитена по экономике находят мёртвым на служебной лестнице станции «Театральная» — в неделю, когда он вёл тендер на эскалаторы. Экономист планово-экономического отдела Аня Корнеева видит то, чего не видят остальные: человека в его пальто, который уходит из метро через служебный выход. Ей не верят, потому что два года назад ей поставили диагноз «синдром Капгра» — бред двойника: она уверена, что знакомые люди подменены копиями. Один раз она уже ошиблась. Второй раз ошибиться она не может: на кону жизнь человека, которого она любит, и триста миллионов рублей, которые в этом городе уже поделили без неё.

Содержание

Глава 1. Тариф на одну поездку 7
Глава 2. Себестоимость 26
Глава 3. Ночная смена 45
Глава 4. Планово-экономический 64
Глава 5. Партитура 85
Глава 6. Форма М-29 104
Глава 7. Отпечатки 123
Глава 8. Окно в движении 141
Конец ознакомительного фрагмента. 149

Маргарита Солнцева
Любовный метрополитен

Экономический детектив
Любовный метрополитен
Солнцева М.В.

Заместителя начальника метрополитена по экономике находят мёртвым на служебной лестнице станции «Театральная» — в неделю, когда он вёл тендер на эскалаторы. Экономист планово-экономического отдела Аня Корнеева видит то, чего не видят остальные: человека в его пальто, который уходит из метро через служебный выход. Ей не верят, потому что два года назад ей поставили диагноз «синдром Капгра» — бред двойника: она уверена, что знакомые люди подменены копиями. Один раз она уже ошиблась. Второй раз ошибиться она не может: на кону жизнь человека, которого она любит, и триста миллионов рублей, которые в этом городе уже поделили без неё. А над городом, где всё это происходит, уже третий год летают машины: линия аэротакси «Ракушка» в воздушных коридорах — машины в форме створки, гладкие сверху и ребристые снизу, с перламутровым отливом, — и мелкие грузовые ракушки без окон над крышами депо и диспетчерская «Купол» в комнате без окон на верхнем этаже управления.

Главные герои:

Анна Сергеевна Корнеева, двадцать восемь лет, экономист ПЭО метрополитена, синдром Капгра, тетрадь примет, считает в уме быстрее калькулятора и не узнаёт себя в зеркале. Григорий Львович Аверьянов, пятьдесят четыре года, заместитель начальника метрополитена по экономике, тендер на эскалаторы, убит на станции «Театральная». Илья Андреевич Ремезов, тридцать четыре года, следователь, бывший эксперт-бухгалтер, верит цифрам и не верит людям. Николай Степанович Пахомов, шестьдесят два года, начальник ПЭО, левша, правило: «бюджет — это не деньги, это полномочия»; в августе говорит Ане: «Вот открою — и меня через неделю найдут на лестнице»; человек, который двадцать два года подписывал и не умеет просить, — и он же убийца Аверьянова. Лидия Марковна Гурьева, главный бухгалтер, знает всё и говорит половину. Виктор Зотов, начальник отдела закупок, живёт по принципу «не я придумал эту процедуру». Аркадий Ильич Беккер, директор театра оперы и балета, ставит «Любовный метрополитен» на деньги метрополитена. Марина Вельт, прима, сопрано, у неё голос, который невозможно подделать, и муж, которого она не любит. Кирилл Вельт, дирижёр, ставит спектакль и знает партитуру лучше, чем собственную жизнь. Тимур Асланов, машинист-инструктор электродепо «Северное», узнаёт людей по звуку шагов и берёт Аню в ночную смену. Валентина Егоровна Сотникова, кассир станции «Театральная», двадцать де-

вять лет в одном окне. Пётр Хабаров, электромеханик СЦБ, боится подписывать акты и всё-таки подписывает. Доктор Лев Иосифович Штерн, психиатр, учил Аню проверять реальность. Светлана Корнеева, мать Ани, считает, что дочь «просто впечатлительная». Олег Дьяков, следователь-конкурент Ремезова, любит быстрые версии. Баронов, подрядчик «Эскалаторсервиса», приезжает на встречи на машине без номеров. Кирилл Дмитриевич Сомов, заместитель по развитию, бывший командующий Железнодорожных войск, протаскивает воздушный ярус и называет площадку на крыше станции «сопряжением»; диспетчерская служба «Купол» в комнате без окон на верхнем этаже управления, четыре человека и два экрана; «Ракушка» — аэротакси в форме створки: гладкая сверху, ребристая снизу, со спиральным швом от носа к корме, открывается вверх одной створкой; триста сорок рублей за первые три километра. Максим Верещагин, двадцать шесть лет, экономист первой категории ПЭО, четвёртый стол у окна, ведёт бюджетную роспись, запоминает всё, что видит, — сколько сахара в чужом кофе, каким выходом ходят после восьми, что написано в чужом календаре; полгода тайно и молча ухаживает за Аней и пугает её именно точностью своей памяти; приезжает к воротам депо в четыре утра и ждёт у проходной с курткой и термосом.

Глава 1. Тариф на одну поездку

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОВНЫМ МЕТРОПОЛИТЕНОМ

1. Вход в чувства возможен по одному билету — первому впечатлению, но выход требует обоюдного решения двух сердец.

2. Поезд эмоций прибывает не по расписанию ожиданий, а в тот момент, когда перестаёшь активно искать любовь.

3. Пересадка чувств — это выбор, который мы делаем каждые две минуты жизни, решая, куда направить своё сердце.

4. В проёме сомнений не задерживайся: двери решений закрываются внезапно, а стандартные фразы «всё будет хорошо» не отражают истинную картину происходящего в душе.

5. Линия любви дотируется болью и слезами, оставаясь убыточной для каждого, но продолжает возить сердца каждые две минуты, несмотря ни на что.

6. Тариф отношений включает шестьдесят пять процентов искренности и тридцать пять процентов терпения. Всё остальное — дотация от души.

7. График движения чувств не совпадает с расписанием ожиданий: поезд может опоздать на годы или прибыть раньше, чем ты будешь готов.

8. Платформы сомнений всегда переполнены, но твой поезд остановится только на той, где ты искренне веришь в чувства.

9. Станции расставаний оборудованы эскалаторами времени, которые уносят воспоминания вверх или вниз, в зависимости от того, как ты смотришь на прошлое.

10. Метрополитен души работает круглосуточно, но билеты на счастье продаются только тем, кто готов платить настоящей любовью.

В семь сорок утра на «Театральной» пахло мокрым гранитом и чужой курткой. Аня Корнеева знала этот запах наизусть: если пахнет мокрым камнем — значит, наверху дождь, а если чужой курткой — значит, в тамбуре ехал человек, который не сушил её с вечера. Она поднялась по левой лестнице, потому что правая эскалаторная была занята ремонтом, и на ходу достала телефон: приложение показывало шестьдесят пять рублей за поездку и «экономия по карте — сорок два рубля в месяц». Она поправила его пальцем: не сорок два, а тридцать девять, если ездить двадцать два раза в месяц, а не двадцать четыре.

Никому в мире не было дела до этой разницы. Ане — было.

Двадцать восемь лет, серый плащ, очки без диоптрий — стёкла она носила, чтобы не смотреть людям в глаза, и это было честнее, чем делать вид, что смотрит. В правом кармане лежала тетрадь в клетку, на резинке, с надписью: «При-

меты» на первой странице. На второй странице было написано: «Сегодня я не узнала себя в зеркале в лифте. Пальто моё, шарф мой, лицо — не моё. Это не страшно. Это просто ещё один день».

Она поднялась на площадку, кивнула кассиру — Валентине Егоровне, у которой были часы «Заря» с треснувшим стеклом, и привычка двигать лоток на два сантиметра влево, когда она сердится, — и пошла на служебную лестницу, потому что через вестибюль идти было дольше, а она всегда приходила на работу за двадцать минут до начала.

Служебная лестница пахла хлоркой. На третьей ступени от площадки лежал человек.

Сначала Аня подумала, что это кто-то из путейской службы присел отдохнуть: тёмное пальто, серые брюки, туфли начищены. Потом увидела, как лежит голова, и остановилась. Потом увидела часы.

Часы были «Ракета», с белым циферблатом и потёртым ремешком, и стрелки стояли на семи тридцати двух. Такие часы она видела каждый вторник на планёрке у заместителя начальника метрополитена по экономике. Григорий Львович Аверьянов всегда клал левую руку на стол, когда говорил о бюджете, и циферблат смотрел в сторону двери, как будто докладывал отдельно.

Она не закричала. Она достала телефон, набрала сто двенадцать, сказала: «Станция "Театральная", служебная лестница между вестибюлем и техническим этажом, мужчина,

пятьдесят с небольшим, не дышит, часов не снимала, к телу не подходила» — и только потом села на ступеньку выше и положила руки на колени.

Всё, что она подумала в эту минуту, было не про смерть, а про цифры. Триста миллионов на эскалаторы. Шестьдесят пять рублей за поездку. Четыре тысячи двести человек в штате. Один человек на ступеньке.

— Вы кто?

Мужчина в куртке с надписью: «Следственный комитет» на спине стоял на площадке и смотрел на неё так, как смотрят на человека, который сидит рядом с трупом и не плачет.

— Корнеева. Экономист. Планово-экономический отдел, третий этаж административного корпуса. Я его нашла в семь тридцать девять, позвонила в семь сорок, к телу не подходила, ничего не трогала. Это Аверьянов, Григорий Львович, заместитель начальника по экономике.

— Вы его знаете?

— По вторникам он ведёт планёрку. Я готовлю к ней справку по себестоимости. Последний раз видела вчера в шестнадцать десять, он спускался в кассовый зал.

Мужчина присел, посмотрел на часы убитого, потом на её лицо.

— Ремезов, Илья Андреевич. Следователь. Вы хорошо его разглядели, чтобы утверждать, что это Аверьянов?

— У него на левой руке часы «Ракета» тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, ремешок перешит синей ниткой в

двух местах, на правой руке нет обручального кольца, хотя он женат. Ещё у него на подошве правого ботинка срезан уголок — он хромает на правую ногу с прошлой зимы. Это он.

Ремезов ничего не сказал. Записал.

— Как вы это всё запомнили?

— Я не запоминаю. Я смотрю.

Врач приехал через одиннадцать минут, и всё, что было дальше, Аня слышала, как через стену: «травма затылочной области, кровоподтёк на левом предплечье, время смерти приблизительно шесть тридцать — семь ноль-ноль», «камера на лестнице не работает с марта», «турникет служебного входа открывали картой в шесть пятьдесят одну, карта не Аверьянова».

В шесть пятьдесят одну по служебной лестнице поднялся человек с картой Аверьянова. В семь тридцать девять по ней поднялась Аня и нашла Аверьянова.

Между этими двумя событиями прошло сорок восемь минут. В метро за сорок восемь минут проходит восемь тысяч человек.

* * *

В одиннадцать её вызвали в кабинет.

Кабинет был угловой, с двумя окнами на площадь, и в нём пахло кофе и принтерной бумагой. Пахомов, начальник планово-экономического отдела, сидел не за столом, а на подоконнике, что означало высшую степень раздражения.

— Аня, я тебя очень люблю. Ты у меня лучший экономист в городе, я это говорю без иронии. Но ты понимаешь, что теперь будет?

— Меня вызовут на допрос, — сказала она. — Скажу то, что видела.

— Ты скажешь, что у Аверьянова срезан уголок на ботинке. Это прекрасная деталь. Следствие от неё в восторге. Но у нас с тобой через две недели защита бюджета на следующий год, а у нас из триста миллионов на эскалаторы двести восемьдесят уже расписаны по контрактам, которые надо закрыть до тридцать первого декабря. Понимаешь, о чём я?

— Понимаю, — сказала Аня. — Вы хотите сказать: не мешай.

— Я хочу сказать: не высовывайся больше, чем нужно. Ты нашла тело. Хорошо. Ты не следователь. Всё.

Она вышла в коридор и постояла у окна. За окном шёл дождь, и по стеклу ползла капля, оставляя за собой полосу. Аня смотрела на каплю и считала: за одну секунду она проходит примерно сантиметр. Значит, от верха стекла до низа — минута с небольшим. В метро за минуту проходит сто тридцать человек.

За стеклом, ниже кромки дождя, вдоль проспекта прошла машина. Она шла не по дороге, а над ней — низко, метров двадцать, держась правой стороны воздушного коридора. «Ракушка», городское аэротакси: корпус в форме створки, гладкий сверху и ребристый снизу, с перламутровым от-

ливом и спиральным швом от носа к корме. Открывается вверх, одной створкой. Год назад, когда линию открывали, полгорода вышло смотреть, как она поднимается с площадки на крыше «Технологического». Теперь на неё не поднимал головы никто. Ниже, над крышами депо, шли грузовые коридоры: мелкие ракушки без окон возили посылки с двенадцати до пяти, и знали об этом только те, кто работал в депо.

Аня подняла и посчитала: триста сорок рублей за первые три километра, дальше по сорок два; от «Театральной» до её дома — четыреста девяносто рублей и одиннадцать минут. Метро — шестьдесят пять рублей и двадцать семь минут с пересадкой.

В приложении под весёлыми цифрами стояло мелкое: «Действует городская субсидия». Метро дотировали на двадцать три рубля восемнадцать копеек с поездки и возили восемь миллионов человек в месяц; воздушный ярус — на триста восемь рублей с пассажира и тридцать две тысячи.

В коридоре пахло кофе, принтерной бумагой и чьим-то одеколоном — «Шипр», старый, дешёвый, тот самый, которым пахло от Аверьянова, когда он наклонялся над её справкой и говорил: «Корнеева, вы считаете честно, поэтому вас никто не любит».

Из-за угла вышел человек в тёмном пальто.

Тёмное пальто, серые брюки, туфли начищены, походка с прихрамыванием на правую ногу, часы «Ракета» на левой руке — она успела увидеть ремешок с синей ниткой. Он шёл

от лестницы к выходу, ровно, спокойно, и на ходу поправлял манжету левой руки — так, как это делал Аверьянов.

Аня стояла и смотрела.

Человек прошёл мимо в двух метрах, и она увидела руку. Пальцы были не его. У Аверьянова был широкий, крепкий ноготь на большом пальце, с продольной трещиной от старости, и он стучал этим пальцем по столу, когда сердился. У этого человека ноготь был ровный, чистый, ухоженный, и он не стучал ничем.

Пальто было его. Часы были его. Походка была его.

Рука была чужая.

— Григорий Львович, — сказала она громко.

Человек не обернулся. Он даже не замедлил шаг. Он дошёл до двери на лестницу, толкнул её плечом и вышел, и дверь закрылась за ним с тем мягким стуком, с каким закрываются двери в зданиях, где не любят шума.

Аня стояла ещё минуту. Потом достала тетрадь и записала: «11:26. Коридор третьего этажа. Человек в пальто Аверьянова. Хромота правая, часы его, манжета его, рука не его. Ноготь на большом пальце ровный. Не обернулся на имя».

Она закрыла тетрадь и поняла, что теперь у неё есть две версии, и обе неудобные.

Первая: Аверьянов жив, а на лестнице лежал кто-то другой, похожий на него до невероятия.

Вторая: Аня Корнеева снова видит двойников, как два года назад, когда ей объяснили, что мать, приехавшая из сана-

тория, — «не мать, а копия», и она три дня не пускала её в квартиру.

Она знала, какая из версий понравится следствию. И знала, какая из них, скорее всего, правда.

* * *

К вечеру она сидела в отделе одна. Свет горел только над её столом, принтер спал, в коридоре гудел вентилятор. Аня открыла папку «Эскалаторное хозяйство, 2026» и положила перед собой смету.

Триста миллионов рублей на модернизацию эскалаторного хозяйства. Тридцать шесть эскалаторов на замену, срок — два года, подрядчик — «Эскалаторсервис». В смете было написано: «демонтаж — 4,2 млн», «монтаж — 11,8 млн», «пусконаладка — 2,1 млн», «авторский надзор — 1,4 млн», «непредвиденные расходы — 3 процента».

Она взяла калькулятор, потом отложила его и посчитала в уме, потому что в уме получалось честнее.

Тридцать шесть эскалаторов на триста миллионов — это восемь миллионов триста тысяч на эскалатор. В прошлом году, когда меняли эскалатор на «Строителей», вышло шесть с половиной. Разница — миллион восемьсот на единицу. Умножить на тридцать шесть — шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч.

Шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч рублей разницы. В метро, где каждая поездка дотируется из бюджета, где ремонтный фонд расписан по месяцам, где замена од-

ного светильника в тоннеле — это отдельная заявка.

Аня перевернула страницу и увидела, что смета составлена по «укрупнённым нормативам» — то есть не по факту, а по справочнику, который составил сам подрядчик. И что «непредвиденные расходы» стоят три процента, хотя по контракту предусмотрены полтора.

Она сняла очки, протёрла их о плащ и надела обратно.

В коридоре послышались шаги, и она по привычке отметила: тяжёлые, ровные, каблук подкован, идёт человек, который не боится, что его услышат. Шаги остановились у её двери.

— Корнеева? — Ремезов стоял в дверях, в мокрой куртке, и с него капало на линолеум. — Я вас искал. У вас найдётся десять минут?

— Найдётся, — сказала она. — Вы всё равно уже накапали.

Он посмотрел на пол, потом на неё, и впервые за день у него изменилось лицо — не глаза, а именно лицо, как будто человек вспомнил, что умеет улыбаться.

— Я слышал от вашего начальника, что вы «своеобразный свидетель». Он сказал это так, будто предупреждал меня о пожаре.

— Он прав. Я действительно своеобразный. — Аня закрыла папку и положила на неё ладонь. — Садитесь. И сразу спрашивайте то, зачем пришли.

Ремезов сел напротив, достал блокнот и положил его на

стол, не открывая.

— Вы сегодня в одиннадцать двадцать шесть видели в коридоре человека. Вы сказали ему: «Григорий Львович». Дежурный по этажу говорит, что в это время по коридору шёл только один человек — заместитель начальника службы пути, и он не в пальто, а в куртке.

— Значит, дежурный не смотрел.

— Или вы видели то, чего не было. — Он сказал это без нажима. — Мне сказали, что два года назад вам поставили диагноз. Синдром Капгра. Это когда человек уверен, что близких заменили двойники.

Аня кивнула.

— Мне его поставили в двадцать шестом. Я упала с велосипеда, три недели в больнице, потом ещё полгода таблеток. Я не спорю с диагнозом. Я с ним живу. И знаете что? За два года я ни разу не ошиблась в приметах. Ни разу. Я могу принять телеграфный столб за вашу жену, но, если я говорю, что у человека чужие руки, — значит, я видела чужие руки.

— Значит, вы утверждаете, что в коридоре был не Аверьянов.

— Я утверждаю, что на нём были его вещи и его походка. — Она помолчала. — И ещё. Если бы это был он, он бы обернулся. Он всегда оборачивался, когда его звали по имени. Всегда. Это была его единственная хорошая привычка.

Ремезов открыл блокнот, написал одну строчку и закрыл.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда второй вопрос. Григо-

рий Львович Аверьянов вчера в шестнадцать часов был у вас в отделе?

— Был. Принёс замечания к смете эскалаторов. Сказал: «Корнеева, вы считаете честно, поэтому вас никто не любит».

— И что вы сделали?

— Сказала, что в смете шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч лишних.

В кабинете стало очень тихо. Вентилятор в коридоре гудел.

— И что он ответил?

— Он сказал: «Я знаю». — Аня посмотрела Ремезову в глаза — вернее, туда, где у людей обычно бывают глаза, потому что лица всё равно были ненадёжны. — Он сказал: «Я знаю, Корнеева. Поэтому завтра я всё подпишу и всё остановлю».

Ремезов медленно положил блокнот в карман.

— А завтра, — сказал он, — его нашли на служебной лестнице с проломленным затылком, а смета ушла на согласование в департамент.

— Да, — сказала Аня.

— И вы хотите, чтобы я вам поверил.

— Нет, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы мне не верили и проверили. Разница небольшая, но вы её заметите.

Он стоял ещё несколько секунд, и с его куртки всё капало на линолеум — уже маленькими редкими каплями.

— Ладно, — сказал Ремезов. — Тогда с завтрашнего дня я буду вас проверять. У вас как с калькулятором?

— Я считаю в уме.

— Тогда я тоже.

Дверь закрылась. Аня посидела ещё немного, потом достала тетрадь и на чистой странице написала: «Следователь Ремезов. Шаги: тяжёлые, подкован левый каблук. Часы: нет. Обручальное кольцо: было, снял — след светлее. Когда говорит про людей, смотрит на руку. Когда слушает — на дверь. Голос: низкий, курит, но бросил, поэтому в голосе песок».

Она посмотрела на эту запись и добавила внизу, мелко, как будто сама себе: «Он не поверил. Но пришёл».

* * *

Она оделась за четыре минуты.

Не потому, что решила ехать. Руки решили раньше.

В подъезде пахло сыростью и чужим ужином, и на первом этаже у почтовых ящиков сидел кот, который жил тут с прошлой зимы и которого все кормили.

На улице было пусто.

Аня шла к метро и думала: в такое время работает только одна станция, остальные закрыты, и надо идти через «Технологический», а оттуда две остановки на автобусе, потому что ночной автобус ходит раз в сорок минут.

Она не помнила, как дошла.

* * *

Служебный вход управления был заперт, но не наглухо:

внизу, у поворота, стоял человек в форме и курил.

— Мне надо наверх, — сказала Аня.

— Не положено.

— Я здесь работаю. Четвёртый этаж.

Человек посмотрел на неё и, наверное, увидел то, что видел от неё весь этот день каждый: женщину, которая слишком прямо стоит.

— Ладно, — сказал он. — Пять минут. И не по лестнице, по коридору.

Она прошла по коридору и остановилась у лестницы.

* * *

Лестница служебного входа была обыкновенная.

Двенадцать ступеней, гранит, перила справа, краска на перилах стёрта до металла в одном месте — там, где за неё держатся.

На седьмой ступени, у самого края, было тёмное пятно, и его уже пытались смыть: вокруг пятна гранит был мокрый и темнее, чем везде.

Аня села на ступеньку выше — туда, где было сухо, — и стала смотреть.

Вот как это было.

Человек с картой вошёл в шесть пятьдесят одну. Поднялся наверх. А Григорий Ильич шёл за ним или уже стоял здесь.

Удар был сверху. Значит, тот, кто ударил, стоял выше.

А Григорий Ильич хромал на правую ногу двенадцать лет и по этой лестнице не ходил никогда, потому что на правой

стороне перила, а ему надо было держаться левой рукой.

То есть его сюда позвали.

Он поднялся туда, куда никогда не поднимался, потому что кто-то сказал: «Гриша, поднимись на минутку, тут разговор».

Аня сидела на холодном граните и думала: интересно, что он успел почувствовать. Удивление? Он же, наверное, увидел лицо.

Она достала телефон и сфотографировала лестницу — сверху, как видит человек, который стоит наверху.

Потом спустилась и сфотографировала снизу.

И только тогда поняла, что делает: она снимает не место, а точку зрения. Она всегда так делала с документами — смотрела, с чьего места написан документ. Оказалось, с лестницами это тоже работает.

* * *

Она вернулась домой в половине второго.

Села за стол и открыла тетрадь.

Руки дрожали, и она записала коряво, крупно:

«14 октября. Четверг.

Утром я нашла его на седьмой ступени.

Удар сверху. Значит, тот, кто ударил, стоял выше и ждал.

Он не ходил по этой лестнице двенадцать лет. Значит, его позвали, и он пошёл, потому что тот, кто звал, был для него не опасен.

Кто в этом здании был для него не опасен?

Я не узнаю лиц. Но я знаю: опасных людей узнают по голосу. А он пошёл на голос.»

* * *

Она вернулась домой в половине третьего.

Села за стол и открыла тетрадь.

Руки дрожали, и она записала коряво, крупно:

«14 октября. Четверг.

Утром я назвала его по имени в коридоре, и человек в его пальто не обернулся.

В 23:40 он был мёртв.

Я не узнаю лиц. Поэтому я никогда не смогу сказать: это был он или не он. Но я знаю другое.

Он не ходил по этой лестнице.

Он не падал. Его уронили.»

Она закрыла тетрадь, погасила свет и села в темноте.

И через двадцать минут записала ещё одну строку, потому что без неё было нельзя:

«Если я не могу узнать человека в лицо, я всё равно могу узнать ложь. Ложь всегда стоит не на том месте».

* * *

Утром позвонила мать.

— Ты спала?

— Нет.

— Что случилось?

Аня помолчала.

— У нас на работе человек умер.

— Кто?

— Начальник. Аверьянов.

Мать в трубке долго молчала — так, как она всегда молчала, когда подбирала слова, которые не ранят.

— Ты его любила?

— Мама.

— Что «мама». Я тебя родила, я тебя знаю. — Она вздохнула. — Ты когда в последний раз ела?

— Вчера.

— Аня.

— Я поем.

— Ты не поешь, — сказала мать. — Я приеду в субботу. И, Аня...

— Да?

— Если тебе страшно, ты скажи. Не надо быть сильной. Сильные потом лежат в больнице.

* * *

В понедельник, через три дня, её вызвали на опознание.

Аня пришла в морг на Екатерининском, и там пахло так, как пахнет везде, где моют полы хлоркой, — то есть почти как в метро.

— Вы уверены, что хотите? — спросил Ремезов.

— Я должна.

— Зачем?

— Затем, что я его нашла, — сказала Аня. — И если я его не опознаю, то никто не опознает.

Она вошла в комнату.

На столе лежал человек под простынёй, и сотрудник отогнул край.

Аня смотрела.

Она видела лицо. Обычное лицо: лоб, брови, нос, губы, седая щетина на подбородке. Лицо, которое ничего ей не говорило.

— Это он? — спросил сотрудник.

Аня смотрела на руки.

На левой руке, на большом пальце, была продольная трещина на ногте. На правой — не было обручального кольца, и на пальце остался светлый след.

Она перевела взгляд на часы.

«Ракета». Ремешок, перешитый синей ниткой в двух местах.

— Это он, — сказала Аня.

* * *

На улице она села на бордюр.

Ремезов стоял рядом и курил, хотя не курил.

— Вы в порядке?

— Нет, — сказала Аня.

Он сел рядом.

— Аня, — сказал он. — Я вам задам один вопрос, и вы можете не отвечать.

— Спрашивайте.

— Вы его видели?

Аня молчала.

— Я имею в виду, — сказал Ремезов, — вы видели его лицо? Вы понимаете, что это он, потому что узнали, или потому что так написано в бумагах?

Аня долго молчала.

— Я не знаю, — сказала она. — И это самое честное, что я могу сказать.

Ремезов кивнул.

— Спасибо, — сказал он.

— За что?

— За то, что не соврали. — Он поднялся. — Мне в таких делах врут все.

* * *

Дома Аня села с тетрадью и написала:

«Опознание. 17 октября.

Я смотрела на его лицо и не узнала ничего. Ни одной чёрточки. Как будто смотрю на фотографию в газете.

Я узнала его по рукам.

По трещине на ногте. По ремешку, перешитому синей ниткой. По светлому следу от кольца.

Значит, я опознала не человека. Я опознала улики.

И знаете, что я думаю? Может, все так и делают. Просто у других это называется памятью».

Глава 2. Себестоимость

Утром в отделе пахло валерьянкой и принтером. Валерьянку пила Лидия Марковна Гурьева, главный бухгалтер, — не потому, что нервничала, а потому что ей было пятьдесят девять лет и она считала, что в этом возрасте нервы надо поддерживать химически. Принтер стоял у окна и печатал смету в двух экземплярах, и от этого на подоконнике дрожала чашка.

— Корнеева, — сказала Гурьева, не поднимая головы от ведомости. — Зайди.

Аня зашла и закрыла дверь.

Кабинет главного бухгалтера был единственным в здании, где не было компьютера на столе. Компьютер стоял сбоку, на тумбе, и включался только для того, чтобы распечатать то, что уже посчитано на бумаге. Гурьева говорила: «Машина считает то, что ей сказали, а я считаю то, что есть».

— Тебя вчера видели на лестнице, — сказала Гурьева.

— Я его нашла.

— Нашла. — Гурьева отложила ручку и посмотрела на неё поверх очков. — Аня, я тебе скажу одну вещь, и ты её запомни. Когда в организации умирает человек, который подписывает деньги, первым делом проверяют не убийцу, а смету. Потому что убийца может быть один, а смета уже ушла в работу.

— Я знаю. Я вчера её смотрела.

— И?

— В ней шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч лишних.

Гурьева не удивилась. Она взяла ручку, повертела её в пальцах и положила обратно.

— Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю. Кто-то писал обоснование начальной максимальной цены контракта так, чтобы она была максимальной.

— Не «кто-то», — сказала Гурьева. — Обоснование подписано начальником отдела закупок Зотовым. Согласовано Аверьяновым. Утверждено... — она помолчала, — утверждено тем, кого я тебе не назову, потому что тебе это не поможет, а мне повредит.

— А вы?

— А я визирую платежи. — Гурьева снова взяла ручку. — И пока платёж не ушёл, я его не визировала. Запомни это, Аня. Пока не ушёл.

Аня вышла в коридор и посмотрела на часы над дверью отдела: восемь сорок. Она всегда отмечала время, когда выходила от Гурьевой, потому что главный бухгалтер была единственным человеком в здании, после разговора с которым хотелось проверить, сколько прошло времени.

Прошло шесть минут. А казалось — двадцать.

* * *

Отдел закупок был на втором этаже, и в нём стояли три

шкафа с папками и один кактус, который никто не поливал, потому что поливать его было не в чьей-то должностной инструкции. Зотов сидел за столом, разложив перед собой три листа, и, когда Аня вошла, накрыл их папкой — не резко, а как накрывают обед, когда в комнату входит начальник.

— Корнеева. Соболезную.

— Спасибо. Виктор Петрович, я по эскалаторам. Мне нужны коммерческие предложения, на основании которых считалась НМЦК.

— Зачем?

— Затем, что в смете шестьдесят четыре миллиона разницы с прошлогодней заменой, и я хочу понять, откуда взялась цифра восемь миллионов триста на единицу.

Зотов откинулся в кресле.

— Аня, ты экономист. Ты же знаешь, как это делается. Метод сопоставимых рыночных цен. Три коммерческих предложения от трёх поставщиков. Средняя арифметическая. Всё по закону.

— Знаю. Покажите предложения.

Он помолчал ровно столько, сколько нужно, чтобы показать, что делает одолжение, достал из шкафа папку и положил перед ней.

Три письма. Три разных бланка. Три разных логотипа. ООО «Эскалатор-Юг», ООО «Лифтпром», ООО «Высота-М».

Аня читала медленно, водя пальцем по строчкам, и Зотов

смотрел на её палец.

В первом письме было написано: «Стоимость работ по модернизации эскалаторного хозяйства состовляет 8 340 000 рублей за единицу оборудования».

Во втором: «Стоимость работ по модернизации экскалаторного хозяйства составляет 8 290 000 рублей».

В третьем: «Стоимость работ по модернизации эскалаторного хозяйства состовляет 8 310 000 рублей за еденицу оборудования».

Она подняла глаза.

— Что? — сказал Зотов.

— Ничего. — Аня положила листы обратно в папку, ровно, как они лежали. — Виктор Петрович, а у вас есть ещё какой-нибудь способ обоснования? Ну, там, анализ рынка, запросы в другие метрополитены?

— Зачем? У нас три предложения. По закону достаточно.

— Достаточно, — согласилась она. — А скажите, «Эскалатор-Юг» и «Высота-М» — они вообще существуют?

Зотов поменял позу — не сильно, на сантиметр.

— Корнеева, ты что, проверять меня будешь?

— Нет. Я просто спросила.

— Существуют. Оба аккредитованы. — Он забрал папку и убрал её в шкаф, и в этом движении было больше смысла, чем в его словах. — Иди работай. И запомни: я не придумывал эту процедуру. Её придумали до меня, и она работает.

— Работает, — сказала Аня. — Я вижу.

В коридоре она достала тетрадь и записала: «Три коммерческих предложения. Одна опечатка на три фирмы: "стоимость работ по модернизации". В двух — "состовляет", в одном "экскалаторного". Одна рука. Один компьютер. Один человек». Она посмотрела на запись, потом добавила: «Зотов не спросил, чьё это предложение первое. Он спросил, зачем мне».

* * *

В обед пришёл Ремезов. Не позвонил — пришёл, встал в дверях отдела с папкой под мышкой, и Пахомов вышел к нему сам, хотя обычно начальник отдела не выходил ни к кому, кроме заместителя начальника метрополитена.

Они говорили в коридоре, у окна. Аня сидела за своим столом в трёх метрах и слышала каждое слово — не потому, что подслушивала, а потому, что у неё был слух человека, который с детства узнаёт людей по голосу.

— Николай Степанович, — говорил Ремезов, — я прошу не материалы, а одно уточнение. Вчера в шестнадцать часов Аверьянов был у вас в отделе?

— Был. По эскалаторам.

— Кто ещё при этом присутствовал?

— Корнеева. Она ведёт это направление.

— И что он сказал?

Пахомов помолчал. Аня услышала, как он переступил с ноги на ногу — скрипнула подошва.

— Сказал, что подпишет и остановит.

— Остановит что?

— Тендер. — Пахомов сказал это ровно, без интонации, как читают цифру. — Он сказал: «Я подпишу замечания и остановлю до выяснения». Это была его формулировка.

— А в департамент смета ушла вчера в девятнадцать сорок. То есть через три с половиной часа после этого разговора. Кто её отправил?

— Следователь, я не помню, кто нажимает кнопки в системе. У нас электронный документооборот.

— А кто имеет право подписи?

— Аверьянов. И я, если он в отпуске или... — Пахомов запнулся ровно на одном слове. — Или отсутствует.

— То есть вчера в девятнадцать сорок вы подписали смету, которую он собирался остановить.

— Я подписал смету, которая согласована. — Голос Пахомова стал сухим. — Следователь, у нас защита бюджета через две недели. Если смета не уйдёт, метрополитен не получит лимиты бюджетных обязательств на следующий год, и мы не поменяем ни одного эскалатора. Вы понимаете, что такое ЛБО?

— Понимаю. Лимиты бюджетных обязательств. Предел, выше которого государственный заказчик не может принимать обязательства.

— Тогда вы понимаете, почему смета ушла.

— Понимаю, — сказал Ремезов. — Только одно уточнение, Николай Степанович. Вы подписали её в девятнадцать

сорок. Когда именно вы узнали, что Аверьянов мёртв?

Тишина в коридоре стала такой, что Аня услышала, как в конце этажа капает вода из крана в буфете.

— В двадцать часов двадцать минут, — сказал Пахомов. — Мне позвонили.

— А смету отправили в девятнадцать сорок.

— Да.

— Хорошо, — сказал Ремезов. — Спасибо.

Он повернулся и пошёл по коридору, и Аня успела увидеть его лицо в дверном проёме — спокойное, как у человека, который только что получил в руки очень хорошую цифру.

* * *

Вечером она осталась одна и сделала то, что делала всегда, когда цифры не сходились: разложила всё по годам.

Прошлый год: замена эскалатора на «Строителей». Шесть миллионов пятьсот тысяч. Четыре эскалатора, все ЭТ-5М, все с износом больше восьмидесяти процентов.

Позапрошлый год: «Заводская», ремонт вместо замены. Два миллиона сто тысяч. Восемь месяцев простоя одной ленты, пассажиропоток перераспределён, на «Заводской» в утренний час пик очередь на вход двадцать метров.

Позапозапрошлый: авария на «Университетской», заклинивание, двенадцать пострадавших, комиссия, предписание, штраф.

И вот теперь тридцать шесть эскалаторов — на восемь

миллионов триста каждый.

Она открыла дефектную ведомость. В ней было перечислено, какие узлы подлежат замене: тяговые цепи, ступени, поручни, приводные станции, тормозные устройства. И была строчка: «замена главного привода — 4 шт.».

Четыре штуки на тридцать шесть эскалаторов. Это было странно, потому что главный привод меняется либо на всех, либо ни на ком: если эскалатор изношен на восемьдесят процентов, у него изношен и привод.

Она посчитала: тридцать шесть эскалаторов, по смете — четыре привода. Значит, тридцать два эскалатора получат новые ступени, новые цепи, новые поручни и старый привод, который через два года встанет. А через два года контракт на ремонт будет заключён заново, уже по другой цене, и уже без конкурса — как «продление гарантийных обязательств».

— Вот оно, — сказала Аня вслух.

В кабинете никого не было. Она сказала это в пустой кабинет, и голос прозвучал странно, как будто кто-то другой повторил за ней.

Она взяла лист и написала сверху: «Эскалаторы. Что не сходится». И перечислила:

Первое. Цена за единицу на 1,8 млн выше прошлогодней, хотя оборудование то же.

Второе. Обоснование цены — три письма с одной опечаткой.

Третье. Приводов четыре на тридцать шесть.

Четвёртое. Смету отправили через три часа после того, как человек, который её собирался остановить, перестал дышать.

Пятое. Подпись под отправкой — Пахомов, который «не помнит, кто нажимает кнопки».

Шестое. Аверьянов был в отделе в шестнадцать, а на лестнице его нашли в семь тридцать утра, и по заключению врача он умер между шестью тридцатью и семью. Значит, между разговором в отделе и смертью прошло четырнадцать часов, и всё это время он был где-то в метро.

Седьмое — и она записала это последним, потому что не хотела: человек в его пальто, у которого были его часы и чужие руки.

Она перечитала список и поняла, что первые шесть пунктов складываются в дело об экономическом преступлении, а седьмой — в справку о состоянии её здоровья.

За окном было уже темно. Внизу, на площади, горели фонари, и по мокрому асфальту шли люди с зонтами, и в их движении была та же регулярность, что в графике поездов: каждые три минуты новая волна.

Аня закрыла папку, надела плащ и вышла.

На площадке третьего этажа стоял человек в тёмном пальто.

Он стоял спиной, у окна, и смотрел вниз, на площадь, и левая рука у него была поднята к лицу — так, как смотрят на часы.

Аня остановилась в двух метрах.

— Григорий Львович, — сказала она.

Человек обернулся. У него было лицо Аверьянова — то самое лицо, с тяжёлыми щеками и узкими глазами, — и он смотрел на неё спокойно и чуть насмешливо, как смотрел всегда, когда она приносила ему справку с цифрами, которые ему не нравились.

— Корнеева, — сказал он её голосом. — Вы считаете честно. Поэтому вас никто не любит.

У Ани остановилось дыхание — не от страха, а от того, как точно это было сказано: с той же паузой перед «поэтому», с тем же падением интонации в конце.

— Вы умерли, — сказала она.

— Это вы так думаете.

Он опустил руку, и на запястье у него были часы «Ракета» с синей ниткой на ремешке. Он поправил манжету — тем же движением, что и утром.

— Корнеева, — сказал он, — идите домой. И не считайте того, чего не просили считать.

Он пошёл к лестнице, и она смотрела ему в спину: тёмное пальто, серые брюки, хромота на правую ногу.

А потом увидела руку. Он взялся за перила — и на большом пальце не было трещины.

Аня достала телефон и включила камеру. Руки у неё тряслись, и она снимала не человека, а руку, ступеньки, край пальто — всё, что успела, пока он не спустился.

Потом села на подоконник и просидела так минут десять, потому что ноги не держали.

В тетради в этот вечер появилась запись: «Площадка третьего этажа. 19:58. Он говорил моим голосом его слова. Голос точный. Пауза точная. Ноготь на большом пальце левой руки — без трещины. Трещина была в четверг на планёрке, я видела её в двадцати сантиметрах от своего лица.

Это не он.

Или это он, и я снова больна».

Она закрыла тетрадь, вышла на улицу и пошла домой пешком, потому что в метро в этот вечер ехать не смогла.

* * *

Дома она достала калькулятор, хотя считала в уме.

Калькулятор был старый, с большими кнопками, купленный в переходе за четыреста рублей ещё на втором курсе. Аня им почти не пользовалась, но держала на столе — как держат на столе фотографию: не для того, чтобы смотреть, а для того, чтобы было.

Она села и стала считать заново.

Себестоимость поездки: сорок один рубль восемьдесят две копейки.

Из них: электроэнергия — девять двенадцать. Оплата труда — четырнадцать сорок. Амортизация — шесть восемь. Ремонт и обслуживание — пять двадцать. Налоги, страхование, прочее — шесть двадцать два.

Тариф — шестьдесят пять рублей.

Разница — двадцать три восемнадцать.

Двадцать три рубля восемнадцать копеек с каждой поездки. Восемь миллионов поездок в месяц.

Сто восемьдесят пять миллионов рублей в месяц.

Аня отложила ручку.

Вот здесь, в этой разнице, лежало всё. И эскалаторы, которые не меняли с тысяча девятьсот девяносто восьмого года. И четыре главных привода из тридцати шести. И шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч, которые появились в смете из воздуха, как появляется пар из чайника.

Она взяла лист и выписала столбиком:

«Что можно проверить в цифрах: 1. Индекс-дефлятор. 2. Три коммерческих предложения. 3. Обеспечение контракта (это не расход!). 4. Число приводов в ведомости. 5. Метры провода. 6. Год выпуска на шильде. 7. Подпись: живая или сканированная.

Что нельзя проверить в цифрах: 1. Кто стоял на лестнице. 2. Чей голос я слышала в 19:58.

Вывод: сначала цифры. Они не имеют лица».

Она посмотрела на последнюю строчку и подчеркнула её дважды.

«Они не имеют лица» — вот почему с ними было легче. У цифр не бывает лица, которое не узнаёшь. У цифр есть только значение, и если значение не сходится, то не сходится у всех одинаково: у неё, у Гурьевой, у ревизора из департамента, у любого человека с калькулятором.

Аня положила лист в папку и подписала: «Сверка. Октябрь».

* * *

В девять вечера позвонил Ремезов.

— Корнеева? — сказал он. — Ремезов. Вы домой дошли?

— Дошла.

— Хорошо. — Он помолчал. — Я вам звоню не по делу. То есть по делу, но не по вашему.

— Слушаю.

— Скажите, — сказал он, — вы сегодня в девятнадцать пятьдесят восемь были на площадке третьего этажа?

Аня села.

— Откуда вы знаете?

— Потому что я там был через четыре минуты, — сказал Ремезов. — Я приехал в управление к восьми, меня вызвали по другому делу. И я видел, как вы сидите на подоконнике и смотрите в телефон, и вид у вас был такой, что я не стал подходить.

— Почему?

— Потому что я двадцать лет работаю и знаю, как выглядит человек, которому только что сказали что-то очень плохое.

Аня молчала.

— Так что вы видели? — спросил он.

— Человека, — сказала Аня. — В пальто Аверьянова. Он говорил моим голосом.

Ремезов молчал долго.

— Во сколько?

— В девятнадцать пятьдесят восемь.

— Что он сказал?

Аня помолчала.

— Он сказал: «Вы считаете честно. Поэтому вас никто не любит». — Она сглотнула. — И ушёл по лестнице. С хромотой на правую ногу.

— Вы сняли его?

— Сняла руку. И ступеньки.

— Пришлите мне.

— Пришлю.

Ремезов снова помолчал.

— Корнеева, — сказал он. — Я вам сейчас скажу одну вещь, и вы не будете смеяться. — Он вздохнул. — В марте у нас был эпизод. На «Петроградской», в вестибюле, дежурная видела человека в форме машиниста, который зашёл в комнату отдыха и вышел через полторы минуты. — Он помолчал. — Комната отдыха была заперта. Ключ был у неё.

— И что?

— И ничего. — Ремезов говорил ровно. — Она написала рапорт. Её отправили на медкомиссию, потому что у неё в тот месяц умер муж и все решили, что она не в себе.

Аня смотрела в стену.

— И вы решили, что она была в себе?

— Я решил, — сказал Ремезов, — что я эту женщину знаю

двадцать лет, и она была самой скучной дежурной на линии. Такие не врут. Такие боятся врать.

— А чего они не боятся?

— Смотреть, — сказал Ремезов. — Такие не боятся смотреть.

* * *

Она положила трубку и посидела ещё.

Потом включила телефон, нашла снимок руки на перилах и увеличила.

Рука была мужская, широкая, с коротко стриженным ногтем. На большом пальце — без трещины.

Аня смотрела на этот палец минуты три.

Потом открыла галерею, нашла планёрку во вторник — она снимала доску с цифрами, и в кадр случайно попала рука Аверьянова, которая ставила галочку.

Она увеличила и сравнила.

Одна рука. Та же форма, тот же короткий ноготь, та же привычка держать авторучку высоко, у самой середины корпуса.

И на втором снимке — продольная трещина на ногте. Тонкая, светлая, от основания почти до края.

Аня смотрела на два снимка и думала о том, что человек, который умеет копировать голос, может не уметь копировать палец.

А потом подумала другое: а что, если у этого пальца есть своя история, и её можно прочитать по датам?

Она открыла папку с фотографиями планёрок. Там было четыре года снимков — кто-то в отделе всегда фотографировал доску, потому что так было проще, чем переписывать.

Аня села поудобнее и стала искать руку.

* * *

В субботу утром Аня пошла в управление, хотя была суббота.

Она сказала вахтёру «я по делу», и вахтёрша записала её в журнал, и Аня поднялась на третий этаж.

В отделе было пусто и тихо, и в тишине было слышно, как в коридоре шумит принтер на втором этаже.

Она села за свой стол и открыла папку со сметой.

Потом достала калькулятор и стала считать.

Она считала три часа.

Она считала себестоимость поездки по нормативам. Потом считала по факту. Потом считала по факту с учётом амортизации, которую не начисляли. Потом — с учётом ремонта, который не делали.

И к двенадцати часам дня у неё на столе лежал лист, на котором была написана одна цифра.

Сорок один рубль восемьдесят две копейки — по нормативам.

Шестьдесят девять рублей двадцать копеек — по факту.

Аня смотрела на эту цифру.

Тариф был шестьдесят пять.

— Господи, — сказала она.

Получалось, что город платит шестьдесят пять рублей за поездку, которая стоит шестьдесят девять. То есть метрополитен работает в убыток — и работает он в убыток потому, что эскалаторы двадцать пять лет не меняли, а ремонт делали только на бумаге.

И этот убыток компенсируют из бюджета. А бюджет — это те же шестьдесят пять рублей, только собранные налогами.

Аня отложила калькулятор.

— Значит, — сказала она вслух, — мы двадцать пять лет платим за эскалаторы, которых нет.

* * *

Она позвонила Ремезову.

— Илья Андреевич, — сказала она. — Я хочу вам сказать одну вещь, и вы, наверное, решите, что я сошла с ума.

— Говорите.

— Мотив не в деньгах, — сказала Аня.

Ремезов помолчал.

— В смысле?

— В прямом. — Аня смотрела на лист. — Убийство произошло не потому, что Аверьянов нашёл хищение. Хищение можно было бы пережить: вернуть часть, списать, договориться.

— А почему тогда?

— Потому что он собирался сказать вслух, — сказала Аня. — Понимаете? Он собирался сказать: «Эскалаторы не меняли двадцать пять лет». А это не про деньги. Это про то,

что в городе тридцать шесть машин, на которых каждый день ездят миллионы людей, и эти машины старые.

Ремезов молчал долго.

— Аня, — сказал он. — Вы понимаете, что это значит?

— Что?

— Что если бы он сказал только про деньги, его бы уволили. — Ремезов говорил очень тихо. — А он собирался сказать про безопасность. И тогда пришлось бы останавливать эскалаторы, выводить людей, останавливать станции.

Аня закрыла глаза.

— И тогда, — сказала она, — пришлось бы объяснять, кто двадцать пять лет подписывал акты.

— Да.

Аня долго молчала.

— Илья Андреевич, — сказала она. — А мы сможем это доказать?

— Что?

— Что он собирался сказать про безопасность, а не про деньги.

Ремезов помолчал.

— Нет, — сказал он. — Это мотив, а не состав.

— Тогда зачем?

— Затем, — сказал Ремезов, — что это правда. И однажды кто-нибудь напишет об этом книгу.

* * *

Домой она ехала в метро, стоя у двери, и считала остано-

ки, потому что считала всегда: восемь станций, одна пересадка, два эскалатора, двадцать девять минут.

Дома она открыла тетрадь не с начала, а с оборота — там, где страницы пустые, — и нарисовала линию. Так, как их рисуют на схемах в вестибюле: прямая, восемь точек, крючок пересадки посередине.

Точки она подписала не названиями станций, а тем, что случилось.

«Первая — лестница, семь тридцать девять.

Вторая — коридор, девятнадцать пятьдесят восемь, чужой голос.

Третья — здесь я пока не знаю, что писать».

Она посмотрела на схему и подумала, что это честнее плана эвакуации: станции есть, а куда идёт поезд — не написано нигде.

Глава 3. Ночная смена

Лев Иосифович Штерн принимал в старом корпусе, на втором этаже, где линолеум был вытерт до бетона, а на подоконнике стоял фикус, который пережил три ремонта и одного главврача. Он был маленький, седой, в вязаном жилете поверх рубашки, и разговаривал с Аней так, как разговаривают с человеком, которого давно знают и не собираются жалеть.

— Рассказывай, — сказал он, когда она села.

Она рассказала.

Про лестницу, про часы «Ракета», про человека в коридоре, про ноготь, про голос на площадке третьего этажа — с паузой перед «поэтому».

Штерн слушал, не перебивая, и в конце спросил:

— Сколько ты спала за эти три ночи?

— Часа четыре. Может, пять.

— Понятно. — Он снял очки и протёр их платком. — Аня, я тебе скажу то, что говорил два года назад, и ты это знаешь. Синдром Капгра — это не про то, что ты видишь не то. Это про то, что твой мозг не соединяет лицо с человеком. Он видит лицо и не получает узнавания, а объяснение придумывает сам, потому что человек не может жить в мире, где жена — не жена.

— Я знаю.

— И ты знаешь, что самое неприятное? — Он надел очки. — То, что ты описываешь, невозможно проверить изнутри. Ты не можешь отличить бред от правды, потому что и то и другое ощущается одинаково — как уверенность.

— Я могу проверить снаружи, — сказала Аня. — Не лицо. Данные.

Штерн смотрел на неё секунд пять.

— Поясни.

— У Аверьянова была карта служебного входа. Ей открыли турникет в шесть пятьдесят одну. Значит, есть журнал: чья карта, когда, какой турникет. Есть камеры в кассовом зале. Есть график движения, потому что в тоннеле в это время шли поезда. Я не буду доказывать, что видела двойника. Я докажу, что в шесть пятьдесят один в метро вошёл человек с его картой, а в шесть тридцать он уже был мёртв.

— А если в шесть пятьдесят один вошёл сам Аверьянов?

— Тогда он вошёл после смерти, — сказала Аня. — И это тоже проверяется.

Штерн достал из кармана жилета телефон, потыкал в него пальцем и повернул экран к ней.

— Смотри. Кто это?

На фотографии был мужчина лет пятидесяти, широкое лицо, тёмные глаза, рубашка с коротким воротом. Он смотрел прямо в объектив.

— Не знаю, — сказала Аня. — Я его не узнаю.

— Это я, — сказал Штерн. — В две тысячи четвёртом.

Только снимок перевёрнут.

Она присмотрелась ещё раз. Лицо как лицо: лоб внизу, подбородок сверху, глаза, брови, всё на своих местах.

— Перевёрнут?

— Вверх ногами. — Он забрал телефон, что-то сделал и вернул. — А теперь?

Аня посмотрела и отшатнулась.

На экране был человек с невозможным лицом: глаза и рот вывернуты, будто их вырезали и наклеили обратно, повернув на сто восемьдесят градусов. Это было то же самое лицо, которое секунду назад казалось совершенно нормальным.

— Я ничего не заметила, — сказала она.

— Никто не замечает. — Штерн убрал телефон. — Открыли в восьмидесятом году, психолог из Йорка, фамилия Томпсон. Он взял фотографию Маргарет Тэтчер, перевернул на ней глаза и рот, а потом перевернул сам снимок. Вверх ногами лицо выглядит нормально. Правильно оно не выглядит никогда. Это называется эффект Тэтчера.

— Почему?

— Потому что лицо, Аня, обрабатывается не по частям. Целиком, одним куском, за двести миллисекунд, — и целиком же узнаётся. А когда снимок перевёрнут, мозг перестаёт видеть целое и начинает разбирать по деталям: вот глаза, вот рот, вот брови. Детали на месте. А целого нет, и заметить его отсутствие некому.

Аня сидела очень тихо.

— То есть я всё время вижу детали, — сказала она. — И собираю из них человека. Как смету по строкам.

— А остальные получают лицо готовым, — сказал Штерн. — Одним куском, без чертежа. Поэтому они узнают и не могут проверить: они не знают, из чего это собрано. Ты знаешь, из чего, и не получаешь готовым. — Он посмотрел на неё поверх очков. — Это самое точное описание твоей болезни, которое я слышал за двадцать лет. И единственное, из которого можно работать.

— Тогда двойник возможен, — сказала Аня. — Если лицо — конструктор, его можно собрать заново.

— Двойник возможен всегда, — сказал Штерн. — Ты пойми другое: то, что ты видишь подмену, не значит, что подмены нет. И то, что ты её не видишь, тоже ничего не значит. — Он закрыл карту. — Теперь иди. У тебя, я вижу, есть план, а у меня ещё три человека.

Она встала и у двери достала тетрадь.

«Лицо — это смета, — записала она. — Строки сходятся, а сумму я не вижу. Значит, считать надо не по лицу, а по всему, что вокруг него: по времени, по документам, по шагам».

Штерн засмеялся — коротко, сухо, как кашлянул.

— Знаешь, что мне в тебе нравится? Ты никогда не споришь с диагнозом. Ты его обходишь. — Он записал что-то в карту. — Ладно. Пей таблетки, спи по семь часов, и вот тебе моё профессиональное мнение: если через две недели ты придёшь и скажешь, что ошиблась, — я скажу «я преду-

преждал». А если не придёшь — я скажу «я был неправ». Второе случается чаще, чем ты думаешь.

* * *

Электродепо «Северное» стояло за кольцом, в конце длинной улицы, где фонари горели через один. Аня приехала туда в десять вечера, с пропуском, который выписал Ремезов, и с папкой, в которой лежала выписка из журнала турникетов, полученная днём.

Тимур Асланов, машинист-инструктор, встретил её у ворот.

Он был большой, спокойный, в форменной куртке, и первое, что он сделал, — не поздоровался, а прислушался.

— Вы на каблуках, — сказал он. — Плохо. В депо бетон, и на каблуках слышно, что человек идёт, за триста метров. Тут не любят, когда слышно.

— Я сниму.

— Не снимайте. Просто идите медленнее.

Они вошли в цех, и Аня первый раз в жизни увидела метро с той стороны, с которой его не видит никто.

Цех был длинный, как улица, и в нём стояли четыре состава — восемь вагонов, серые, тяжёлые, с погашенными фарами. Под потолком горели лампы в металлических сетках, и от этого света всё казалось одного цвета: и пол, и вагоны, и люди в оранжевых жилетах.

— Это «номерные», — сказал Асланов, кивнув на первый состав. — Восемьдесят пятый год. Двигатель постоянно-

го тока, реостатный контроллер, тормоз — пневматический. Сейчас такие уже не делают, а мы на них ездим, и будем ездить, потому что новый состав стоит четыреста миллионов, а ремонт этого — восемь.

— Восемь миллионов на состав, — сказала Аня. — За год?

— За ремонт. — Асланов посмотрел на неё. — А что?

— Ничего. Просто у меня в смете восемь миллионов триста — это один эскалатор.

Они пошли вдоль состава, и Асланов говорил, а она слушала и запоминала — не слова, а то, как он их говорил: спокойно, без нажима, как человек, который объясняет то, что ему самому кажется очевидным.

— Поезд идёт по рельсовым цепям, — сказал он. — Рельс — это не только дорога, это провод. Участок между изолирующими стыками — рельсовая цепь. Когда поезд входит, он замыкает цепь, и на пульте у дежурного загорается занятость. Автоблокировка: сзади всегда красный, впереди — жёлтый или зелёный. Поэтому два поезда в тоннеле не встретятся, если всё исправно.

— А если неисправно?

— Тогда встречаются. — Асланов остановился. — В восемьдесят втором на «Автозаводской» так и было: отказ рельсовой цепи, машинист увидел красный, но было поздно. С тех пор у нас правило: увидел красный — остановился, даже если уверен, что это ложное.

— Даже если уверен, что это ошибка, — повторила Аня.

— Особенно если уверен.

Они пошли дальше вдоль состава, и Асланов показал рукой на стену, где за ограждением тянулись кабели в металлических лотках.

— А вот это габарит приближения строений, — сказал он. — Всё, что подходит к пути ближе положенного, состав сносит: лоток, кабель, чью-нибудь сумку, оставленную на краю платформы. Габарит никто не обсуждает. Его просто держат.

— А если не держат?

— Тогда составляют акт, — сказал Асланов. — И объясняют, почему снесло.

Они дошли до конца цеха, и Асланов открыл дверь в маленькую комнату, где стояли стол, чайник и шкаф с папками.

— Вы пришли спросить про Аверьянова.

— Да.

— Я его знал двенадцать лет. — Асланов налил воды в чайник, включил его и сел. — Он ко мне ездил раз в месяц. Не как начальник, а как человек: садился в кабину и ехал от «Северной» до «Театральной» и обратно. Говорил, что в тоннеле думается.

— И что он говорил в последний раз?

— В прошлый вторник. — Асланов помолчал. — Он сказал: «Тимур, у нас в этом году триста миллионов на эскалаторы. Знаешь, сколько из них дойдёт до эскалаторов?» Я сказал: не знаю. Он сказал: «И я не знаю. Но я узнаю».

Чайник щёлкнул.

— А ещё он сказал: «Если со мной что-нибудь случится, не верь, что я полез в щитовую пьяным».

Аня подняла голову.

— В щитовую?

— У нас на «Театральной» есть щитовая, — сказал Асланов. — Тяговая подстанция рядом, кабельный ввод, распределительные щиты. Там восемьсот двадцать пять вольт на контактном рельсе, и туда без допуска нельзя. Аверьянов сказал это как шутку. Я не засмеялся.

— Почему?

— Потому что люди так не шутят. — Асланов налил чай в две кружки. — Вы знаете, что такое контактный рельс?

— Знаю. Восемьсот двадцать пять вольт постоянного тока. Питание через токоприёмник.

— Умница. — Он поставил кружку перед ней. — А знаете, что будет, если человек в мокрой обуви встанет на рельс и возьмётся за поручень?

— Не знаю.

— Ничего не будет. Поручень на изоляторах. — Асланов усмехнулся. — А если он возьмётся за заземлённый корпус щита — будет всё. Поэтому в щитовой работают в диэлектрических перчатках и с нарядом-допуском, и в наряде написано, кто именно работает, а не «бригада».

Аня записала: «щитовая. наряд-допуск. 825В. мокрая обувь».

— Тимур Ильдарович, а вы вчера утром были на «Театральной»?

— Был. В шесть сорок я проводил обкатку после ремонта. — Он отхлебнул чай. — И я видел человека.

Аня замерла.

— В тоннеле?

— На платформе. — Асланов поставил кружку. — Я шёл составом в депо, без пассажиров, и на «Театральной» стоял у светофора минуту сорок. И видел: по платформе шёл человек в тёмном пальто, шёл быстро, и на ходу снимал с себя что-то — то ли шарф, то ли галстук. Снял и сунул в карман. Я ещё подумал: кому это в шесть сорок утра нужен галстук.

— Вы его лицо видели?

— Лицо? — Асланов посмотрел на неё как на человека, который спросил что-то странное. — Я в кабине. До платформы метров пятнадцать, и стекло. Я видел силуэт и что он делает. Лицо я не видел.

— А походку?

— Походку видел. — Он помолчал. — Шёл ровно. Не хромал.

Аня достала тетрадь, потом убрала.

— Аверьянов хромал на правую ногу, — сказала она.

— Знаю. Двенадцать лет хромал. — Асланов допил чай и поставил кружку так, что она стукнула о стол. — Поэтому я и запомнил.

* * *

Обратно она ехала в последнем поезде, в пустом вагоне, и смотрела в тёмное окно, за которым ничего не было видно, кроме собственного отражения.

В отражении сидела женщина в сером плаще, в очках без диоптрий, и Аня смотрела на неё и не узнавала. Это было привычно. Два года назад она научилась: если не узнаёшь себя в зеркале, не пугайся, а проверь приметы. Шрам на левой брови. Родинка на шее справа. Плащ серый, шарф синий, потому что мать говорит, что серое с синим «не сочетается, но тебе идёт».

Плащ серый. Шарф синий. Шрам есть.

Значит, это я.

Она достала тетрадь и на новой странице вывела:

«Что я знаю точно, без всяких "мне кажется":

1. Аверьянов умер между 6:30 и 7:00. Лестница, затылок. 2. В 6:51 турникет служебного входа открыт его картой. 3. В 6:40 человек в тёмном пальто шёл по платформе "Театральной" и не хромал. 4. В 11:26 человек в его пальто шёл по коридору и не обернулся на имя. 5. В 19:58 человек в его пальто говорил его словами и моим голосом. 6. У всех троих был его палец на манжете и его часы — и ни у одного не было трещины на ногте.

У Аверьянова трещина была. Я видела её двенадцать раз на планёрках.

Значит: либо я неверно помню трещину (проверить: фотографии с планёрок, у него рука на столе, на фото должно

быть видно).

Либо: есть человек, который умеет быть Аверьяновым лучше, чем сам Аверьянов.

И ещё одно, отдельно, потому что это важно:

Никто из них не хромал».

Она подчеркнула последнюю строку и захлопнула тетрадь.

Поезд вышел из тоннеля, и в окне на секунду появилось небо — низкое, серое, с одним фонарём на эстакаде.

Аня смотрела на него и думала о том, что человек, который так хорошо знает чужие приметы, должен быть либо очень внимательным, либо очень заинтересованным. Внимательных в метро было много. Заинтересованных — один.

* * *

В депо она осталась до четырёх утра.

Не потому, что так решила. Просто Асланов сказал: «Хотите понять, как у нас всё устроено, — сидите до первого выпуска», — и она осталась.

Ночная смена в депо — это не тишина.

Это гул.

Он не прекращается ни на минуту: где-то внизу работает компрессор, где-то в цехе гудит стенд, где-то капает вода в смотровой канаве, и в этом гуле живут люди, которые за двадцать лет перестали его слышать.

Аня сидела в комнате отдыха и пила чай из железной кружки.

— Вы, наверное, думаете, что мы тут спим, — сказал Асланов, садясь напротив.

— Думала.

— Все так думают. — Он отхлебнул из своей кружки. — А у нас в ночь тридцать восемь человек. И каждый что-то делает. — Он показал пальцем в окно. — Вон, в третьем цехе, эскалатор в разборе стоит. Главный привод сняли.

— Зачем?

— Затем, что у него подшипник гудит. — Асланов посмотрел на неё. — Уже три месяца гудит. Мы написали четыре письма.

— И?

— И нам ответили: «включено в план на следующий год». — Он усмехнулся. — А на следующий год у нас что? Правильно. Новый план.

Аня поставила кружку.

— Тимур, — сказала она. — А можно посмотреть?

* * *

Эскалатор в разборе — это страшное зрелище.

Не потому, что что-то сломано, а потому, что видно, как это огромно. Главный привод — чугунная махина в шесть с половиной тонн, а рядом с ней лежат ступени, и каждая ступень весит как взрослый человек.

Аня стояла внизу, в канаве, и смотрела вверх.

— Тимур, — сказала она. — А сколько таких в городе?

— Главных приводов? — Асланов подумал. — Тридцать

шесть.

— На все станции?

— На все. — Он кивнул. — Тридцать шесть приводов, и каждый должен меняться раз в двадцать пять — тридцать лет. Я вам скажу больше: у нас половина из них с семьдесят девятого.

Аня смотрела на чугун.

— А по документам?

— А по документам, — сказал Асланов, — у нас всё новое. — Он помолчал. — Вы же сами видели форму М-29?

— Видела.

— Вот. — Он развёл руками. — В бумаге одно, в цеху другое. И знаете, что самое обидное? Меня однажды спросили: «Асланов, зачем ты пишешь эти письма?» И я не нашёл, что ответить.

— А зачем?

Он долго молчал.

— Потому что если я не напишу, — сказал он, — то однажды у меня на эскалаторе поедет ступень. И тогда спросят не «почему она поехала», а «почему ты не писал».

* * *

В половине четвёртого они вышли из цеха.

Во дворе было холодно и пахло соляркой.

— Тимур, — сказала Аня. — Я хочу вас спросить про Аверьянова.

Асланов остановился.

— Спрашивайте.

— Вы сказали, что он говорил вам: «не верь, что я полез в щитовую пьяным». Когда он это сказал?

— В августе. — Асланов смотрел в сторону. — Он приезжал к нам в депо. Не с проверкой — просто приехал, ходил по цеху, смотрел.

— Зачем?

— Спрашивал про замены. — Асланов повернулся. — Он спросил: «Тимур, сколько главных приводов у вас меняли за последние двадцать лет?» Я говорю: «Ни одного». Он говорит: «Как ни одного? У меня в актах — все тридцать шесть».

Аня замерла.

— Он так сказал?

— Так и сказал. — Асланов помолчал. — И знаете, что он сделал потом? Он достал блокнот и стал записывать. Стоял в цеху, в мазуте, и записывал, какой привод когда ставили. — Асланов усмехнулся. — Я ему говорю: «Григорий Львович, вы же начальник. Вам-то зачем?» А он говорит: «Потому что если я начальник, то с меня и спросят».

Аня смотрела на него.

— А что было в сентябре?

— В сентябре он не приехал. — Асланов смотрел на неё. — А в октябре он умер.

* * *

Первый выпуск Аня смотрела с площадки.

Дверь цеха открылась, и состав выехал медленно, с вклю-

чёнными фарами, и в свете фар было видно, как поднимается пыль.

— Красиво, — сказала Аня.

Асланов посмотрел на неё.

— Вы первая, кто так говорит с площадки. — Он помолчал. — Обычно говорят: «Ну и вонь».

Она вернулась домой в начале шестого, и город ещё спал, и в подъезде было темно.

Лежала она сорок минут и не спала.

Потом встала и записала в тетрадь:

«Аверьянов начал проверять в августе.

Он приехал в депо и спросил, сколько приводов меняли за двадцать лет. Ему ответили: ни одного. У него в актах — тридцать шесть.

Он знал это с августа. И ничего не сделал до октября.

Почему?»

* * *

В воскресенье она поехала к Штерну.

Клиника была на Васильевском, в старом доме с широкой лестницей, и в коридоре пахло не лекарствами, а бумагой и кофе — потому что здесь больше разговаривали, чем лечили.

— Анна Сергеевна, — сказал Штерн, — вы в прошлый раз ушли очень быстро.

— Я испугалась.

— Чего?

— Того, что вы скажете, что я больна.

Штерн сел в кресло.

— Я вам скажу, — сказал он. — Вы больны.

Аня подняла на него глаза.

— Это не оскорбление, — сказал Штерн. — Это диагноз. У вас нарушение узнавания лиц. Оно называется прозопагнозия, и у вас его тяжёлая форма: вы не узнаёте даже близких. Плюс у вас есть бредовая интерпретация — синдром Капгра — которая состоит в том, что вы объясняете себе неспособность узнать человека подменой.

— То есть я придумываю двойников.

— Вы придумываете объяснение, — сказал Штерн. — Это не глупость. Это работа мозга. Мозг не терпит пустоты: если он не может узнать лицо, он обязан объяснить, почему.

Аня молчала.

— И вот здесь, — сказал Штерн, — самое важное. — Он наклонился. — Бред — это не ложь. Бред — это объяснение, которое не проверяется. И у вас есть только один способ с ним жить: проверять всё остальное.

— Что всё остальное?

— Всё, что можно проверить. — Штерн откинулся. — Вы не можете проверить, тот ли человек перед вами. Но вы можете проверить, сходится ли смета. Вы можете проверить, есть ли у человека трещина на ногте. Вы можете проверить, работает ли камера на лестнице.

Аня смотрела на него.

— То есть вы советуете мне стать следователем?

— Я советую вам стать бухгалтером, — сказал Штерн. — Вы уже бухгалтер. Просто теперь вы будете считать не деньги, а противоречия.

* * *

Она сидела в коридоре и ждала таблетки, которых не было.

Рядом сидел мужчина лет шестидесяти, с папкой на коленях.

— Вы к Штерну? — спросил он.

— К нему.

— Он хороший. — Мужчина помолчал. — Он мне сказал одну вещь, которая мне помогла.

— Какую?

— Он сказал: «Вы не обязаны помнить. Вы обязаны записывать».

Аня посмотрела на него.

— А что у вас?

— У меня память, — сказал мужчина. — Я забываю лица. И имена. И вчерашний день. — Он похлопал по папке. — Поэтому у меня вот это. Сорок лет записей. Каждый день.

— И помогает?

— Помогает. — Он улыбнулся. — Правда, иногда я читаю и не понимаю, кто это написал. Но зато я знаю, что это было.

* * *

В пять сорок, когда она вышла из депо, зазвонил телефон.

— Извините, что так рано, — сказал Ремезов. — Я не по делу.

— А по чему?

— По совести, — сказал он. — Вы доехали?

Аня стояла у ворот, и над депо висело небо цвета мокрого асфальта, и первые поезда уже шли с пассажирами.

— Я ещё не уезжала, — сказала она. — Смена кончилась в пять.

— Значит, вы сутки не спали.

— Спала. На стуле у Нины Аркадьевны. Час.

Он помолчал.

— Аня. Я звоню не для того, чтобы спросить про сон. Я звоню, чтобы сказать: в тоннеле надо держаться за поручень и не ходить по правой стороне.

— В тоннеле нет правой стороны.

— Есть, — сказал Ремезов. — Я проверял. И вы пойдёте именно по ней, потому что вам всегда надо ближе к стене.

Аня посмотрела на телефон.

— Вы это сейчас придумали?

— Я это понял в пятницу, когда вы шли по лестнице и всё время смещались влево, к перилам. — Он помолчал. — Всё. Я сказал. Извините.

— Илья Андреевич.

— Да.

— Спасибо, — сказала Аня. — И ещё: следующие сутки я буду спать, поэтому не звоните.

— Я понял.

— Но после послезавтра можно.

В трубке было слышно, как он дышит.

— Хорошо, — сказал Ремезов. — После послезавтра.

Дома Аня достала тетрадь и переписала туда фразу:

«Вы не обязаны помнить. Вы обязаны записывать».

А потом приписала под ней:

«Штерн сказал: бред — это объяснение, которое не проверяется. Значит, задача не в том, чтобы не бредить. Задача в том, чтобы проверять. Всё. Каждый день.

И если однажды окажется, что я придумала двойника, — ну что ж. Тогда я буду сумасшедшей, которая ошиблась. Но пока смета не сходится, я не сумасшедшая. Я права».

Глава 4. Планово-экономический

Заседание по защите бюджета назначили на десять утра в большом зале, где на стене висела схема линий метрополитена, а под ней стоял стол на двенадцать человек. Стол был длинный, покрытый зелёным сукном, и на нём лежали папки — восемь папок, по числу вопросов.

Аня пришла за полчаса и разложила свои листы так, как учила Гурьева: сначала цифра, потом откуда она взялась, потом что будет, если её не принять.

В зале пахло пылью от сукна и кофе из аппарата в углу.

— Корнеева, — сказал Пахомов, входя. — Сегодня без сюрпризов.

— Я не делаю сюрпризов. Я делаю расчёты.

— Это и есть сюрпризы.

Пришли остальные: начальник службы пути, начальник службы электроснабжения, начальник службы движения, представитель департамента транспорта — женщина в сером костюме, которая за всё заседание ни разу не изменила выражения лица, — и человек, которого Аня видела второй раз в жизни и запомнила навсегда: Баронов, представитель «Эскалаторсервиса». Он вошёл последним, сел в торце, поставил перед собой папку и не открыл её до самого конца.

Первым шёл вопрос о тарифе.

— Себестоимость перевозки одного пассажира в этом го-

ду, — читала Аня, — составила сорок один рубль восемьдесят две копейки. Средний тариф — шестьдесят пять рублей. Разница покрывается из бюджета. Транспортная работа — четыреста двадцать миллионов пассажиро-километров. Если мы не поменяем эскалаторы, — она перевернула лист, — через два года у нас будет двенадцать лент с износом больше восьмидесяти процентов, и мы будем останавливать станции по одной.

— Это прогноз? — спросила женщина из департамента.

— Это расчёт. Коэффициент износа по факту — семьдесят три процента. Норма амортизации по эскалаторам — восемь процентов в год, но фактический срок службы у нас двадцать пять лет вместо двадцати. — Аня положила лист. — Мы двадцать лет не меняли то, что должно было окупиться за двадцать. Разница — это и есть те триста миллионов.

В зале стало тихо.

— И поэтому, — сказала она, — я прошу не согласовывать смету в текущем виде.

Пахомов под столом сжал руку в кулак.

— Поясните, — сказала женщина из департамента.

— В смете цена за эскалатор — восемь миллионов триста тысяч. В прошлом году — шесть с половиной. Разница миллион восемьсот на единицу, шестьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч по объекту. Обоснование — три коммерческих предложения от трёх организаций, написанных, судя по опечаткам, одним человеком на одном компьютере.

Кроме того, в дефектной ведомости четыре главных привода на тридцать шесть эскалаторов. Это означает, что тридцать два эскалатора получат новый корпус со старым приводом и встанут через два года — уже по другому контракту.

— Это ваше профессиональное мнение? — спросила женщина.

— Это арифметика.

Женщина посмотрела на Пахомова. Пахомов посмотрел в папку.

— Молодой человек, — сказал Баронов от торца, и голос у него был мягкий, — вы, наверное, не в курсе, но оборудование подорожало. Металл, комплектующие, логистика. Индекс-дефлятор по отрасли — девять процентов.

— Индекс-дефлятор по отрасли — девять процентов, — согласилась Аня. — Значит, цена должна была вырасти с шести пятисот до семи миллионов восьмидесяти пяти тысяч. В смете — восемь триста. Разница полмиллиона на единицу, восемнадцать миллионов по объекту. Это тоже индекс-дефлятор?

Баронов улыбнулся и развёл руками — жест человека, которому нечего добавить и незачем спорить.

— Ну, вы же понимаете, — сказал он. — Отчётность, согласования, банковская гарантия. Обеспечение исполнения контракта — тридцать процентов. Аванс мы не берём. Деньги замораживаются на два года.

— Обеспечение исполнения контракта — это ваши день-

ги, которые лежат на счёте и возвращаются вам после исполнения. Это не расход. — Аня посмотрела на него прямо. — Или у вас они не возвращаются?

В зале кто-то кашлянул.

Женщина из департамента закрыла свою папку.

— Николай Степанович, — сказала она, — я предлагаю смету не согласовывать и вернуть на доработку. С обоснованием цены и с уточнённой дефектной ведомостью.

— Это задержит нас на месяц, — сказал Пахомов.

— Месяц — это дешевле шестидесяти четырёх миллионов, — сказала женщина и встала.

В коридоре её догнали.

— Анна Сергеевна.

Она обернулась. Молодой человек в сером свитере поверх рубашки, с папкой под мышкой, с лицом, которое она видела каждый день и каждый день не узнавала: он сидел в их отделе через проход, четвёртый стол у окна, и его звали Максим Верещагин.

— Я Верещагин, — сказал он. — Максим. Я у вас в группе по бюджетной росписи.

— Я знаю, кто вы, — сказала Аня. — Извините. У меня с лицами плохо.

— Я знаю, — сказал он.

Она остановилась.

— Что вы знаете?

— Что у вас с лицами плохо. — Он сказал это просто, без

сочувствия и без любопытства, как говорят «у вас тридцать четвёртый размер обуви». — Вы в первый месяц сказали Гурьевой, что не запоминаете лица, и просили называть себя, когда входите. Я запомнил.

— Хорошо, — сказала Аня. — Что вы хотели?

Он протянул папку.

— Я считал приводы. Три недели назад. — Он открыл её на середине. — Вот: дефектная ведомость, четыре привода на тридцать шесть эскалаторов. Я не смог доказать, потому что не знаю, как считать амортизацию по факту. А вы знаете.

Аня посмотрела на лист.

Расчёт был аккуратный, в две колонки, с формулами в правом поле — она узнала свою же манеру, потому что сама так делала: цифра, источник, что будет, если не принять.

— Это вы сами? — спросила она.

— Сам.

— Здесь ошибка в строке двенадцать, — сказала она. — Вы взяли норму восемь процентов, а у нас фактический срок двадцать пять лет. Значит, норма шесть и четыре.

Он сейчас же достал ручку и исправил.

— Спасибо, — сказал он. — Я думал, что вы скажете: «Молодой человек, идите работать».

— Я не говорю таких вещей.

— Я знаю, — сказал он опять.

* * *

Он появился у неё на столе через два дня — с кофе.

Стакан стоял ровно на том месте, где она всегда ставила свой: справа, за лотком с бумагами, чтобы не задеть локтем.

— Без сахара, — сказал он.

— Почему без сахара?

— Вы всегда пьёте без сахара.

Аня посмотрела на стакан, потом на него.

— Максим, — сказала она. — Это вы так ухаживаете?

Он не смутился.

— Нет, — сказал он. — Это я так работаю. Кофе — это не ухаживание. Ухаживание — это когда я запоминаю, что вы пьёте.

Она взяла стакан и поставила обратно.

— Мне не нужно, чтобы вы запоминали, что я пью.

— Хорошо, — сказал он и ушёл.

Стакан остался стоять.

Через час она его выпила, потому что кофе остывал, а остывший кофе — это статья расходов, которую никто не согласует.

* * *

После заседания Пахомов догнал её в коридоре и говорил тихо, но так, что слышали все, кто шёл мимо:

— Корнеева, я тебя предупреждал.

— Вы предупреждали. Я услышала.

— Ты не услышала. — Он остановился. — Защита бюджета не состоялась. Метрополитен не получил лимиты. Эскалаторы не будут меняться в этом году. Поздравляю: ты чест-

но посчитала и остановила модернизацию тридцати шести эскалаторов.

Аня стояла и смотрела на него.

— Николай Степанович, — сказала она, — а вы уверены, что они были бы модернизированы? По этой смете — тридцать два из тридцати шести получили бы новый корпус со старым приводом. Через два года они встали бы, и мы меняли бы их без конкурса. Вы понимаете, что такое «продление гарантийных обязательств»? Это контракт с единственным поставщиком. Навсегда.

Пахомов молчал.

— Я не остановила модернизацию, — сказала Аня. — Я остановила то, что модернизацией называлось.

Он отвернулся и ушёл, и в его походке было что-то, чего она раньше не замечала: он шёл быстро, как человек, который очень хочет оказаться за дверью.

* * *

Вечером она занималась тем, что казалось ей не работой, а медициной.

В архиве отдела лежали фотографии с планёрок. Их снимала секретарь — для отчёта, раз в месяц, — и складывала в папку «Мероприятия». Там были люди за столом, графики на экране, разрезанные ленточки, вручение грамот.

Аня открыла фотографию за четвёртое февраля.

Аверьянов сидел слева, положив левую руку на стол — та самая привычка, циферблат в сторону двери. Пальцы были

видны: большой палец, широкий ноготь, и на нём продольная трещина от основания к краю.

Она открыла фотографию за четвёртое марта. Трещина.

За четвёртое апреля. Трещина.

За четвёртое мая. Трещина немного другая — как будто ноготь подрос.

За четвёртое июня. Трещина.

Двенадцать фотографий, двенадцать месяцев, одна и та же рука.

Значит, трещина была. Значит, память её не подвела. Значит, человек в коридоре был не он.

Она уже собиралась закрыть папку, когда на глаза попалась фотография, подписанная не как все.

Файл назывался «DSC_0447.JPG» и лежал в другой папке — «Совет ветеранов». Дата — третье сентября прошлого года. На ней Аверьянов стоял у окна с чашкой, и рука у него была поднята — он держал чашку за ручку.

Аня увеличила.

Большой палец левой руки. Ноготь. Широкий, крепкий.

Трещины не было.

Она смотрела на этот палец минуты две. Потом открыла свойства файла: дата съёмки — третье сентября, время 14:12, камера Canon EOS 600D, и это всё.

Она открыла февральскую фотографию. Трещина. Она была видна даже на плохом снимке — тёмная полоса через весь ноготь.

А третьего сентября — нет.

Аня сидела в пустом кабинете и слушала, как гудит вентилятор.

Тогда, в сентябре прошлого года, трещины не было. А в феврале — была. Трещина не появляется за пять месяцев от основания до края; она растёт от основания, как растёт ноготь, и на это нужно полгода, если ноготь целый. Но главное было не в этом.

Главное было в том, что Аня помнила трещину на планёрке в четверг. И помнила, что видела её в двадцати сантиметрах от своего лица, когда наклонялась над справкой.

Она достала тетрадь и записала:

«3 сентября прошлого года — трещины нет. 4 февраля — есть. Между ними — пять месяцев.

Ноготь растёт от основания. Значит, трещина появилась примерно в декабре.

В четверг, 16 октября, трещина была у Аверьянова.

Значит, человек в коридоре — не Аверьянов не потому, что у него рука другая. А потому, что у него рука ДРУГАЯ, а у Аверьянова — своя.

Но это значит и другое: кто-то в этом здании носит его часы, его пальто, его походку — и знает про него всё, включая то, что он хромает на правую ногу.

И этот кто-то, скорее всего, знал его очень близко. Ближе, чем я».

Она закрыла папку и посидела ещё немного.

Потом позвонила Ремезову.

Он ответил на четвёртом гудке, и на фоне у него был шум — телевизор или улица.

— Ремезов.

— Это Корнеева. Илья Андреевич, у меня к вам просьба, которая покажется странной.

— У меня сегодня весь день странный. Говорите.

— Мне нужны фотографии Аверьянова, где видны его руки. Все, которые есть. И ещё: есть ли в деле снимки с камер на станции?

— Есть. Три камеры, но на лестнице камера не работает с марта. В кассовом зале — есть, но там люди мелкие. — Он помолчал. — Зачем вам руки?

— Потому что лицо я не узнаю, — сказала Аня. — А руку узнаю.

В трубке стало тихо. Потом Ремезов сказал:

— Хорошо. Завтра в девять я привезу вам фотографии. И ещё кое-что.

— Что?

— Заключение эксперта. Аверьянов умер от удара по затылку тупым предметом с ограниченной поверхностью. Что-то вроде молотка или головки рельсового болта. И знаете, что интересно? — Он сделал паузу. — Ударили один раз. Очень точно. Человек, который это сделал, знал, куда бить.

— Или у него был опыт, — сказала Аня.

— Или у него был опыт, — согласился Ремезов.

Она положила трубку и посмотрела на тёмное окно, в котором отражалась женщина в сером плаще.

— Значит, ты не сумасшедшая, — сказала она отражению.

Отражение промолчало.

— Значит, всё хуже, — сказала Аня.

* * *

После защиты бюджета Аня пошла не к себе, а на второй этаж, в отдел закупок.

Зотов сидел в кабинете один.

Ему было пятьдесят два, он двадцать лет покупал для метрополитена всё — от лампочек до тяговых двигателей, — и в управлении про него говорили: «Зотов не берёт». Говорили с уважением, но как-то так, что было непонятно, достоинство это или диагноз.

— Аня, — сказал он. — Я знаю, зачем ты пришла.

— И?

— И я тебе скажу то, что скажет тебе любой закупщик: обоснование НМЦК готовит не закупка. Закупка объявляет.

— А кто готовит?

Зотов помолчал.

— Тот, у кого потребность.

— То есть ПЭО?

— То есть ПЭО, — сказал он. — Но, Аня, ты же сама подписывала справку по индексу-дефлятору.

— Я подписала справку на девять процентов. А в обосно-

вании стоит одиннадцать.

Зотов поднял на неё глаза.

Он смотрел долго, и в этом взгляде было что-то, чего Аня не ожидала: облегчение.

— Значит, ты заметила, — сказал он.

— Заметила.

Он встал, подошёл к двери, закрыл её — и только потом вернулся к столу.

— Аня, — сказал он, — я тебе ничего не говорил. Поняла? Ничего.

— Поняла.

— В марте ко мне пришёл человек из ПЭО. — Зотов сел. — Молодой, в очках, вежливый. Принёс три коммерческих предложения. Готовые.

— Готовые?

— Готовые. — Зотов смотрел на неё. — Понимаешь, обычно как бывает? Закупка рассылает запросы трём поставщикам, они отвечают, мы собираем. Это три недели.

— А тут?

— А тут мне принесли конверт. — Он помолчал. — Три письма, три печати, три подписи. И все три — на одной бумаге.

Аня замерла.

— На одной бумаге?

— Одна и та же бумага, Аня. — Зотов сказал это почти шёпотом. — Я двадцать лет работаю. Я вижу бумагу по от-

тенку. — Он смотрел на неё. — Три разных поставщика из трёх разных городов не могут печатать на бумаге из одной пачки.

Аня села на стул.

— И вы их приняли.

— Я их принял, — сказал Зотов. — И знаешь почему?

— Почему?

— Потому что мне позвонили сверху и сказали: «Зотов, прими». — Он поднял глаза. — А я человек маленький. У меня внучка. У меня ипотека до шестьдесят восьмого года.

Аня долго молчала.

— Кто звонил?

— Я тебе не скажу.

— Зотов.

— Я тебе не скажу, — сказал он твёрдо. — Не потому, что я тебя боюсь. Потому что я не знаю. — Он развёл руками. — Мне звонит телефон, я беру трубку, и в трубке голос. Я таких голосов за двадцать лет слышал триста. Они все одинаковые.

Аня встала.

— А бумагу вы сохранили? — спросила она. — Те три письма?

Зотов посмотрел на неё.

— Сохранил, — сказал он. — Одно. Оно у меня в сейфе, в папке «разное».

— Отдадите?

— Приходи завтра, — сказал Зотов. — И, Аня...

— Да?

— Ты, пожалуйста, не одна ходи. — Он смотрел в стол. — Я тебе этого не говорил, но у нас в управлении за последние два месяца два человека ушли. Один «по соглашению», второй «по состоянию здоровья».

* * *

Домой Аня шла пешком и всю дорогу думала про голоса.

Триста голосов. Все одинаковые.

Она вспомнила, как Аверьянов говорил: «Зотов не берёт». Вспомнила, как он это говорил — с уважением и с горечью.

И вдруг поняла, что уважение и горечь в одной фразе означают одно: Аверьянов знал про Зотова больше, чем говорил. Он знал, что Зотов не берёт денег, но принимает конверты, потому что ему звонят. И он понимал, что это не жадность. Это страх.

* * *

Гурьева позвонила в десять вечера.

— Аня, — сказала она. — Ты сегодня хорошо говорила.

— Спасибо.

— Но ты запомни, — сказала Гурьева. — Когда ты остановила смету, ты остановила не только модернизацию. Ты остановила шестьдесят четыре миллиона, которые люди уже поделили.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. — Гурьева помолчала. — Аня, в этом

году у нас тридцать шесть эскалаторов в работе. Из них в план капитального ремонта включены четыре. Ты понимаешь, что это значит?

— Что остальные ремонтируют текущим?

— Что на остальных не делают ничего. — Гурьева говорила очень ровно. — Что у них меняют только то, что можно продать в металлолом.

Аня стояла в тёмной кухне.

— Лидия Марковна, — сказала она. — А почему вы молчали?

Гурьева долго молчала в ответ.

— Потому что я не молчала, — сказала она наконец. — Я писала. В две тысячи девятнадцатом, в две тысячи двадцать первом и в прошлом году. — Она вздохнула. — Три служебные записки. Первую вернули без ответа. Вторую — с резолюцией «учесть в работе». Третью не вернули вообще.

— А где они?

— Копии у меня. — Гурьева помолчала. — Я вам их отдам, Аня. Потому что я старая и я устала, но я не хочу, чтобы после меня осталось вот это: «бухгалтер знала и молчала».

Аня закрыла глаза.

— Спасибо, — сказала она.

— Не благодари, — сказала Гурьева. — Я вам отдам копии, а вы мне одну вещь пообещайте.

— Какую?

— Когда придут сюда, — сказала Гурьева, — вы будете

очень удивлены, кто первый начнёт говорить. — Она помолчала. — И вы не верьте этому человеку.

* * *

Аня положила трубку и села.

На столе лежал лист с расчётом себестоимости, тот самый, с подчёркнутой строкой «Они не имеют лица».

Она достала ручку и приписала под ней:

«У бумаги тоже нет лица. Но у бумаги есть пачка, оттенок, дата и метры провода. Бумага врёт только тогда, когда её просят. А человек врёт сам».

* * *

В среду её вызвал Сомов.

Кабинет заместителя по развитию был на третьем этаже, в конце коридора, и в нём было две двери: одна обычная, а вторая — в переговорную, где стоял длинный стол на двадцать человек.

Аня вошла и остановилась у стола.

— Садитесь, Корнеева, — сказал Сомов.

Он сидел не за столом, а в кресле у окна, и в руке у него была папка.

— Я вас слушаю, — сказала Аня.

— Вы меня не слушаете, — сказал Сомов. — Вы ждёте.

Аня села.

— Кирилл Дмитриевич, — сказала она. — Зачем вы меня позвали?

Сомов положил папку на стол.

— Я прочитал вашу справку, — сказал он. — Ту, которая по индексу-дефлятору. Ту, где девять процентов вместо одиннадцати.

— И?

— И она правильная, — сказал Сомов.

Аня смотрела на него.

— Что?

— Она правильная, — повторил он. — Я вам скажу больше: я знал, что она правильная, ещё до того, как вы её написали. — Он помолчал. — Вы думаете, я не понимаю, что такое индекс-дефлятор?

— Тогда почему в смете одиннадцать?

Сомов смотрел в окно.

— Потому что, — сказал он, — если я поставлю девять, то я не сделаю тридцать шесть эскалаторов. А если поставлю одиннадцать — сделаю двадцать.

Аня замерла.

— Двадцать?

— Двадцать, — сказал Сомов. — Вы же понимаете арифметику: триста миллионов на тридцать шесть эскалаторов — это не хватает. Восемь миллионов триста за штуку — это ещё не хватает. Реальная цена сейчас — девять с половиной.

— Тогда почему в смете восемь триста?

— Потому что девять с половиной никто не согласует. — Сомов повернулся. — Корнеева, вы четыре года работаете в ПЭО. Вы правда думаете, что смету пишут те, кто знает

цену?

Аня молчала.

— Я вам объясню, — сказал Сомов. — Есть три цифры. Первая — сколько стоит на самом деле. Вторая — сколько нам дадут. Третья — сколько мы напишем. И если вторая меньше первой, то мы пишем цифру, которая проходит, и потом добираем.

— Как добираете?

Сомов усмехнулся.

— Вы же сами нашли. — Он положил ладонь на папку. — Четыре привода из тридцати шести. Форма М-29 с проводом, которого нет. Вот так и добираем.

Аня смотрела на него и не верила тому, что слышит.

— Вы мне сейчас рассказываете, — сказала она медленно, — как вы воруете.

— Я вам рассказываю, — сказал Сомов, — как устроена система, в которой вы работаете четвёртый год. — Он наклонился. — И я хочу, чтобы вы понимали одну вещь: я не ворую. Я не взял себе ни копейки.

— А кто взял?

— Вот это, — сказал Сомов, — правильный вопрос.

* * *

Он встал и подошёл к окну.

— Корнеева, — сказал он. — Я вам предлагаю работу.

— Какую?

— Не работу. — Он повернулся. — Я предлагаю вам пе-

рестать быть экономистом ПЭО и стать человеком, который считает по-настоящему. — Он помолчал. — У нас в управлении нет ни одного человека, который умеет считать и при этом хочет считать. Есть те, кто умеет и не хочет. Есть те, кто хочет и не умеет.

Аня смотрела на него.

— И вы хотите, чтобы я считала по-настоящему?

— Да.

— И что я должна посчитать?

Сомов помолчал.

— Скажите, — сказал он, — вы понимаете, что тридцать шесть эскалаторов за триста миллионов не сделает никто?

— Понимаю.

— И что нам нужно либо больше денег, либо меньше эскалаторов?

— Понимаю.

— Вот это и посчитайте. — Он сел напротив. — Обоснование. Почему нам нужно четыреста пятьдесят. Что будет, если не дадут. Какие станции встанут первыми.

Аня смотрела на него.

— Кирилл Дмитриевич, — сказала она. — А почему вы не поручите это Пахомову?

Сомов усмехнулся.

— Потому что Пахомов, — сказал он, — напишет то, что я скажу. А вы напишете то, что посчитаете.

* * *

Она вышла из кабинета и пошла по коридору, и у неё было ощущение, что её только что погладили по голове и одновременно ударили по затылку.

В отделе она села за стол и просидела минут двадцать без движения.

— Аня? — сказала Пантелеева. — Ты чего?

— Людмила Петровна, — сказала Аня. — Меня вызвал Сомов.

Пантелеева побледнела.

— И что?

— Он предложил мне посчитать обоснование на четыреста пятьдесят миллионов.

Пантелеева села рядом.

— И ты что сказала?

— Ничего. Я не успела.

— Аня. — Пантелеева говорила очень тихо. — Ты должна от этого отказаться.

— Почему?

— Потому что, — сказала Пантелеева, — если ты это подпишешь, то через три года придут и спросят: «А почему вы обосновали четыреста пятьдесят, если сделано триста?» — Она смотрела ей в глаза. — И тогда ты будешь сидеть и объяснять, что «так было нужно».

Аня отложила ручку.

— Людмила Петровна, — сказала она. — А если я не подпишу?

— Тогда всё останется как есть.

— То есть эскалаторы не поменяют.

Пантелеева молчала.

— Значит, — сказала Аня, — либо я подписываю обоснование на цифру, которой нет, и через три года сажусь. Либо я его не подписываю, и в городе остаются тридцать шесть старых эскалаторов.

Пантелеева смотрела в стол.

— А третьего пути нет? — спросила она.

Аня задумалась.

— Есть, — сказала она.

— Какой?

— Написать обоснование честно, — сказала Аня. — На четыреста пятьдесят. С цифрами, которые сходятся. И приложить справку по себестоимости, где будет написано, сколько стоит поездка на самом деле — и сколько она будет стоить, если эскалаторы не поменять.

Пантелеева подняла на неё глаза.

— И они не подпишут.

— Не подпишут, — сказала Аня. — Но бумага останется.

Глава 5. Партитура

Премьера была назначена на субботу, и Ремезов позвонил в среду.

— У меня два билета, — сказал он. — Вам придётся пойти.

— Почему мне придётся?

— Потому что опера называется «Любовный метрополитен». — Он сделал паузу, как будто ждал, что она засмеётся. Она не засмеялась. — И потому что в прошлом сезоне театр получил от нашего управления субсидию. Сто двадцать миллионов. Я хочу посмотреть, на что.

— На оперу.

— На людей, которые её слушают, — сказал Ремезов. — И на тех, кто в неё ходит.

Аня согласилась, хотя не любила театр. Точнее, она не знала, любит ли она его: последний раз она была там в двадцать два года, на «Евгении Онегине», и всё время смотрела на освещение — её тогда поразило, что свет может быть таким тёплым.

В субботу она пришла за сорок минут до начала. Театр стоял на площади, где метро выходило наверх тремя эскалаторами, и в вестибюле было светлее, чем на улице: люстры, зеркала, запах духов и пыли, и люди, которые стояли группами и разговаривали так громко, как разговаривают люди,

уверенные, что их слышат.

Ремезов ждал у колонны, в костюме, и в костюме он выглядел иначе: моложе и строже.

— Вы не переоделись, — сказал он, глядя на её серый плащ.

— Я переоделась.

— А. Ну да. — Он отвёл глаза. — Пойдёмте.

Их места были в десятом ряду партера, с краю. Аня села и стала смотреть программку — тонкую, на хорошей бумаге, где на первой странице были напечатаны имена.

«Любовный метрополитен». Опера в двух действиях. Либретто — М. Вельт. Музыка — К. Вельт. Дирижёр — Кирилл Вельт. Режиссёр — Марина Вельт. Главная партия — Марина Вельт. Сценография — … Спонсор — ООО «Эскалаторсервис».

Аня посмотрела на последнюю строчку и почувствовала, как у неё холодеют пальцы.

— Ремезов, — сказала она тихо. — Смотрите.

Он взял программку, прочитал и ничего не сказал. Потом сложил её вдвое и убрал во внутренний карман пиджака.

— Не смотрите туда всё время, — сказал он. — В зале половина людей из управления, а вторая половина из департамента. Если вы будете смотреть на ложу бенефициара, это заметят.

— А вы?

— А я буду смотреть на всех сразу. — Он улыбнулся од-

ним углом рта. — Это моя работа.

Свет погас не сразу, а по частям: сначала люстры, потом бра, потом синий полумрак над оркестровой ямой. Зал затих.

И заиграла увертюра.

* * *

Аня слушала и не понимала, но и не могла не слушать: это было как смотреть на поезд, который идёт мимо тебя — слишком быстро, чтобы разглядеть окна, но ты всё равно стоишь и смотришь.

Первый такт был стуком. Не музыкой — стуком: короткие удары, равномерные, как колёса на стыке рельсов. Потом к стуку добавились скрипки — длинные, тёмные, и в них появился мотив из четырёх нот, который повторялся и повторялся, меняясь в каждом инструменте.

— Это тема тоннеля, — прошептал Ремезов. — Я прочитал либретто. Она идёт восемь раз.

— Восемь?

— Восемь раз за два действия. Он играет с ней: сначала это звук подземки, потом это звук её головы.

Аня повернулась к нему.

— Вы что, специально?

— Я следователь. Я читаю всё, что дают. — Он помолчал. — И я ходил в театр, когда был студентом. У театрального училища есть студенческие билеты за рубль.

На сцене поднялся занавес, и появилась станция — деко-

рация, которая была и станцией, и подземным садом: колонны, облицованные серым мрамором, и между ними, вместо скамеек, — ящики, деревянные, такими колонны укрывают на консервации.

Главная героиня вышла из оркестровой ямы — буквально: поднялась на подъёмнике и стала на краю сцены, и это было так неожиданно, что зал ахнул.

Марина Вельт была маленькая, в тёмно-синем платье, с короткими волосами, и пела, стоя почти неподвижно.

Аня не знала, что она поёт. Но знала, что слышит.

Голос был густой, низкий для женщины, и в нём было то, чего не бывает в записи: он не был ровным. Он срывался, но не от неумения — он срывался нарочно, там, где героиня не могла сказать спокойно, и от этих срывов каждое слово становилось отчётливым.

«По одной поездке в день, — пела она. — По одной поездке в день. Я плачу тариф и не знаю, куда он меня привезёт».

Аня почувствовала, как что-то у неё в горле сжалось.

Припев она запомнила сразу и потом, через год, могла повторить его целиком, хотя никогда не учила:

«Осторожно, двери закрываются, — говорит мне чужой голос. — Осторожно, двери закрываются. Не задерживайтесь в проёме. Мы отправляемся».

Вот и всё, что в этом городе говорят человеку о любви, подумала Аня. Не «останься», не «подожди» — «не задерживайтесь в проёме». У метро нет времени объяснять: у него

интервал.

Она сидела и думала о том, что эта песня — про неё. Что вся её жизнь в метро и есть одна поездка в день, только поезд едет по кругу, и она не понимает, где выходить, потому что не узнаёт станций.

— Вы плачете? — спросил Ремезов, когда в зале зажгли свет.

— Я считаю. — Она вытерла глаза тыльной стороной руки. — На линии двадцать восемь станций, семь пересадок, и ни одна из них не называется «домой».

— Это из либретто?

— Это из моей жизни, — сказала Аня.

* * *

В антракте их пригласили в фойе на втором этаже, где подавали вино и маленькие бутерброды с рыбой. Ремезов куда-то ушёл, и Аня стояла одна у окна, глядя на площадь.

— Вы, простите, из управления? — сказал кто-то сбоку.

Она обернулась.

Перед ней стоял молодой человек лет тридцати, тонкий, в тёмном пиджаке с бабочкой, и в руке у него был футляр для скрипки, который он держал, как держат зонтик, — небрежно, за ручку.

Аня не узнала его. Она сразу это поняла — то самое ощущение, которое она знала слишком хорошо: лицо есть, лицо нормальное, лицо приятное, и голова не говорит ничего.

Но потом он повернул голову, и в профиле было что-то

знакомое.

Знакомое было в подбородке. И в том, как он держал руку: большой палец оттопырен, левая рука на ручке футляра.

— Из управления, — сказала она. — Планово-экономический отдел.

— Ага. Значит, вы считаете деньги, — сказал он весело. — А я их трачу. Я вторая скрипка. Владислав. — Он переложил футляр и протянул руку.

Она пожала руку. Ладонь была сухая, тёплая, с мозолями на подушечках пальцев — привычные мозоли от струн.

— Корнеева.

— Анна?

— Аня.

— Аня. — Он улыбнулся. — Красиво. У нас героиню, между прочим, тоже зовут Аня. Марина, когда писала либретто, взяла имя у сестры. У неё сестра Аня, и она на всех обижается, что её никогда не зовут в театр.

Аня смотрела на него.

— Владислав, — сказала она. — А ваша фамилия?

Он удивился.

— Аверьянов.

В фойе кто-то засмеялся, и звон бокала прозвучал очень отчётливо.

— Аверьянов, — повторила Аня.

— Вы его знали? — Владислав помолчал. — Да. Вы его знали. Извините. Я не всегда говорю сразу, потому что тогда

всё начинается: «соболезную», «какой был человек», «я его знал». Я устал.

— Я не буду. — Она сделала глоток вина, чтобы не молчать. — Вы его брат?

— Младший. На десять лет. — Он поставил футляр на подоконник. — Гриша меня вырастил. Наши родители... это долго. Скажем так: в девяносто восьмом Грише было двадцать, а мне десять, и он вместо института пошёл работать.

— В метро.

— В метро. Сначала в депо, потом в отдел. — Владислав улыбнулся невесело. — Он двадцать лет мне говорил: «Слава, тебе не надо в метро. Тебе надо в музыку». И был прав.

— А вы вторая скрипка. — Аня посмотрела на футляр. — В театре, который он финансировал?

— Театр финансировало управление, — сказал Владислав. — Это не Гриша. Это субсидия. Сто двадцать миллионов на сезон, я знаю, потому что Марина мне всё рассказывает. — Он чуть нахмурился. — А почему вы спрашиваете?

Аня поставила бокал.

— Владислав, — сказала она. — Это прозвучит очень странно. Я сегодня видела человека, который похож на вашего брата.

Он не засмеялся. Он смотрел на неё долго, и лицо у него менялось — от вежливого к внимательному, потом к чему-то другому.

— Где?

— В метро. — Она помолчала. — В коридоре управления. В четверг.

— В четверг Гришу уже... — Он не договорил.

— Да. Я знаю.

Владислав взял футляр с подоконника и прижал к себе, как прижимают вещь, которая вдруг стала тяжелее.

— Знаете, что странно? — сказал он наконец. — Мне вчера тоже звонили. Из бухгалтерии. Спрашивали, не я ли подписывал акт приёмки. — Он посмотрел на неё. — Я сказал: я скрипач. Я акт приёмки эскалаторов не подписываю. А женщина на том конце сказала: «Ну да, конечно, простите, у вас же одинаковая подпись».

Аня стояла очень тихо.

— Одинаковая подпись?

— Одинаковая подпись, — сказал Владислав. — Мы с Гришей всегда подписывались похоже. Это бывает у братьев. Это как походка.

* * *

Второе действие она смотрела плохо.

На сцене героиня сходила с ума от любви и от метро, пела арию про то, что если ехать достаточно долго, можно вернуться в тот день, когда всё было хорошо, и в оркестре играл тот же мотив, но теперь его вели виолончели, и он был вдвое медленнее.

Аня смотрела не на сцену. Она смотрела на оркестровую яму — на маленькую фигуру у второго пульта, где сидел че-

ловек, похожий на убитого.

В антракте она спросила Ремезова, где он был.

— В ложе, — сказал он. — С Бароновым.

— И?

— И он мне рассказывал про музыку. — Ремезов смотрел прямо перед собой. — Знаете, что он сказал? Он сказал: «В опере главное — не мелодия. Главное — пауза. Публика в паузе слышит то, что хочет». — Он повернулся к ней. — А потом он сказал: «У вас в деле, Илья Андреевич, тоже есть пауза. Между шестью тридцатью и шестью пятьдесят одним. Вот в неё всё и провалилось».

— Он так и сказал? «Провалилось»?

— Так и сказал.

— А вы?

— А я сказал: «Не провалилось. Просто мы ещё не подняли то, что туда упало». — Ремезов усмехнулся. — Он засмеялся. И дал мне свою визитку.

Аня посмотрела на сцену, где в свете прожекторов стояла женщина в синем и пела про то, что поезд идёт по кругу и это единственный способ не потеряться.

— Илья Андреевич.

— Да.

— Вы знаете, что у Аверьянова был брат? Младший. Владислав. Вторая скрипка в этом оркестре.

Ремезов медленно повернул голову.

— Где он сидит?

— Второй пульт, слева.

Ремезов смотрел туда секунд десять, и Аня видела, как у него на скуле дёргается мышца.

— Значит, — сказал он, — в этом городе есть человек, у которого то же лицо, та же подпись и та же походка. — Он помолчал. — И который, судя по всему, единственный, кому смерть Аверьянова была не нужна.

— Почему вы так решили?

— Потому что он потерял единственного родного человека, — сказал Ремезов. — Но я всё равно его проверю. Это моя работа — проверять тех, кому не надо.

Занавес упал. Зал встал и зааплодировал, и Аня тоже встала, потому что встали все, и хлопала, глядя на сцену, где Марина Вельт кланялась, держась за руку дирижёра — высокого человека с седыми висками, который выходил на поклон и улыбался так, как улыбаются люди, привыкшие к тому, что их любят.

А потом Аня посмотрела вверх, в ложу бенефициара.

Там, у бархатного борта, стоял Баронов и рядом с ним — человек в тёмном пиджаке, которого она видела второй раз в жизни.

Человек поднял руку, чтобы похлопать, и она увидела его левую кисть: широкий большой палец, и на ногте — продольная трещина от основания к краю.

Она схватила Ремезова за рукав.

— Вон там. В ложе.

Ремезов поднял голову ровно на секунду и снова опустил.

— Вижу, — сказал он очень спокойно. — Не смотрите. Пойдёмте к выходу, медленно, и не оборачивайтесь.

— Кто это?

— Я не знаю, кто это, — сказал Ремезов. — Но я знаю, что зал сейчас смотрит на сцену, и в ложах никого, кроме бенефициара, быть не должно. — Он взял её под локоть. — Аня. Идём.

Они вышли в фойе, и там было людно и жарко, и люди обсуждали, что вторая ария была лучше первой.

Аня шла и думала о руке с трещиной — и о том, что у мёртвого Аверьянова эта трещина была, а у живого Владислава её нет.

Значит, в ложе стоял третий.

* * *

На улице было холодно и мокро, и площадь блестела, как каток.

— Я отвезу вас домой, — сказал Ремезов. — Не спорьте.

— Я не спорю. — Аня села в машину, старую, серую, с вытертым сиденьем. — Илья Андреевич, у вас есть фотография Аверьянова?

— Есть. В телефоне.

Он достал телефон, нашёл и протянул ей. На фотографии Аверьянов стоял у стены в коридоре, в пальто, и смотрел не в камеру, а мимо, чуть в сторону — так снимают людей, которые не хотят фотографироваться.

Аня смотрела на лицо и не узнавала его.

Это было привычно и от этого было тошно.

— Ну? — спросил Ремезов.

— Не узнаю, — сказала она честно. — Совсем. Как чужой человек. — Она вернула телефон. — Но я узнаю его руку. И его походку. И то, как он ставит чашку на стол, отступая на два сантиметра от края, потому что он в депо работал и привык, что стол качается.

— Откуда вы это знаете?

— Я двенадцать лет смотрела на него на планёрках, — сказала Аня. — Я не знала, что смотрю. Но я смотрела.

Ремезов завёл мотор и не поехал.

— Можно я спрошу? — сказал он.

— Спрашивайте.

— Вам тяжело?

Аня смотрела в лобовое стекло, по которому ползли капли.

— По-разному, — сказала она. — Я не путаю людей. Я их не узнаю. Это две разные вещи, и люди обычно думают, что страшнее путать. — Она помолчала. — Когда я вижу мать, я вижу женщину, которая на неё похожа. Я знаю, что это мать, потому что она говорит её словами и потому что я проверила. Но внутри у меня нет этого... щелчка. Знаете, когда узнаёшь — щёлкает. У меня не щёлкает.

— Никогда?

— Иногда. — Она повернулась к нему. — С вами щёлк-

нуло.

Он молчал.

— Я не в том смысле, — сказала она быстро. — Я в том смысле, что когда вы открыли дверь на лестнице, я сразу поняла, что это вы. Не подумала — поняла.

— Ага, — сказал Ремезов.

— Это не комплимент.

— Я понял.

— Это про то, что мне надо проверить, не сбилось ли у меня что-то ещё. — Аня отвернулась к окну. — Потому что если я начала узнавать людей, значит, что-то изменилось. А если что-то изменилось, то я не знаю, что именно.

Ремезов тронулся с места.

— Знаете, — сказал он через минуту, — я вам скажу, что мне сказал мой преподаватель на первом курсе. Он говорил: «Следователь — это человек, который умеет не верить себе». Не другим. Себе. Потому что главный лжец в любом деле — не подозреваемый, а твоя собственная голова, которая хочет, чтобы всё сошлось.

— И как вы с этим живёте?

— Записываю. — Он усмехнулся. — У меня двести тридцать четыре блокнота. Я записываю всё, даже то, что мне кажется.

Аня открыла свою сумку и достала тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Пять, — сказала она. — Только за этот год.

Он посмотрел на тетрадь, потом на неё, и в его лице было что-то такое, от чего она вдруг почувствовала себя не странной, а понятной.

— Слушайте, — сказал он. — Завтра с утра поезжайте в бухгалтерию. Кто звонил Владиславу Аверьянову — женщина, она спросила про акт приёмки. Найдите её. Спросите, откуда у неё его номер и почему она решила, что подписывал он.

— А вы?

— А я буду поднимать ложи. — Он свернул на её улицу. — Кто арендует ложу в театре, кто её оплачивает, по какому договору. Дарение, аренда, безвозмездное пользование — там будет имя.

— И ещё одно, — сказала Аня. — В программке спонсор — «Эскалаторсервис». Сто двадцать миллионов субсидии в театр. И тот же человек, у которого подряд на эскалаторы.

— Я заметил, — сказал Ремезов.

Машина остановилась у её дома.

— Илья Андреевич.

— Да.

— Он меня видел, — сказала Аня. — В ложе. Он посмотрел вниз, когда хлопал. И я подняла голову одновременно с ним.

Ремезов долго молчал.

— Хорошо, что вы это сказали, — проговорил он наконец. — Плохо, что это правда. — Он наклонился и открыл

ей дверцу. — Завтра в девять. И, Аня, — он говорил уже ей в спину, — если вам покажется, что за вами идут, не оборачивайтесь. Звоните.

* * *

После спектакля Аня пошла за кулисы.

Она не знала, как это делается, но её пропустили: женщина у служебной двери спросила «вы к кому?», Аня сказала «к Марине Андреевне», и женщина махнула рукой — на второй этаж.

За кулисами пахло пудрой, потом и лаком.

Мимо несли декорации — огромные рамы, которые в зале казались вагонами, а здесь были просто холстом на каркасе.

Аня остановилась и посмотрела.

— Осторожно, — сказал кто-то и отодвинул её за плечо.

Это был Владислав Аверьянов, в концертном костюме, со скрипкой в руке.

— Извините, — сказала Аня.

— Ничего. — Он посмотрел на неё. — Вы были в зале?

— Была.

— В ложе?

— В партере. Восьмой ряд.

Владислав кивнул.

— В восьмом ряду слышно хорошо, — сказал он. — В бельэтаже хуже. Всегда так было.

* * *

Они отошли к стене, где не ходили.

— Владислав Григорьевич, — сказала Аня. — Можно вас спросить?

— Спрашивайте.

— Вы в антракте сказали, что у вас с братом была одинаковая подпись.

Владислав чуть улыбнулся.

— А, вы об этом. — Он поправил скрипку. — Да. У нас с Гришей одинаковая подпись.

— Как так?

— Он мне её придумал. — Владислав смотрел на неё. — В девяносто восьмом году, когда мне надо было получать паспорт. Он сел и сказал: «Смотри. Начинаешь с крючка, потом вниз, потом завиток». И я три месяца тренировался. — Он усмехнулся. — Мать потом не могла отличить квитанции.

Аня смотрела на него.

— А зачем?

— Что зачем?

— Зачем вообще делать одинаковую подпись?

Владислав помолчал.

— Потому что мы были одной семьёй, — сказал он. — У нас не было ничего своего. У нас была одна комната, один стол, одна мать. — Он смотрел в сторону. — И когда я подрос, мне казалось диким, что у людей подписи разные. Как это — разные? Мы же Аверьяновы.

Аня молчала.

— А теперь, — сказал Владислав, — я думаю иначе. — Он

поднял на неё глаза. — Теперь я понимаю, что подпись — это единственное, что человек делает сам. И если её можно повторить, то человек уже не один.

— Поэтому вы и сказали мне про неё в антракте?

— Поэтому и сказал. — Владислав помолчал. — Анна...

— Сергеевна.

— Анна Сергеевна, вы ведь ищете того, кто убил Гришу. — Он смотрел ей прямо в глаза. — А я вам скажу: это не тот, кто его ударил.

Аня замерла.

— Почему?

— Потому что тот, кто ударил, — он всё равно боялся. — Владислав смотрел в сторону сцены. — А тот, кто придумал бумаги, не боится ничего. Он вообще не считает, что делает что-то плохое. Он считает, что делает работу.

* * *

Марина Вельт сидела в гримёрке и снимала парик.

— Да? — сказала она, когда Аня постучала.

— Марина Андреевна?

— Я. — Она обернулась. — Вы из зала?

— Я из управления.

Марина положила парик на столик.

— Из управления, — сказала она. — Хорошо. Тогда я скажу: денег больше не будет.

Аня моргнула.

— Простите?

— Не будет, — сказала Марина. — Я знаю, вы скажете: «Марина Андреевна, у нас контракт». Но я вам скажу: в контракте написано «двенадцать выездов в месяц». А я уже три месяца пою бесплатно.

Аня стояла в дверях.

— Я не по деньгам, — сказала она. — Я по другому делу.

Марина посмотрела на неё внимательнее.

— По какому?

— По Григорию Ильичу Аверьянову.

Марина медленно положила руки на стол.

— А вы кто? — спросила она.

— Корнеева. Экономист ПЭО.

— Тот самый экономист, который нашёл его на лестнице?

Аня замерла.

— Откуда вы знаете?

Марина смотрела на неё в зеркало.

— Мне сказали, — сказала она. — В сентябре. — Она помолчала. — Гриша на репетиции сидел сзади, и я потом спросила: «Что там за женщина?» А он сказал: «Это Корнеева. Она считает».

— И?

— И он сказал: «Если со мной что-то случится, иди к ней».

Аня стояла и не могла дышать.

— Он так сказал?

— Так и сказал. — Марина повернулась на стуле. — Толь-

ко я не пришла, — сказала она. — Я испугалась.

* * *

Аня вышла из театра в одиннадцатом часу.

На улице было холодно, и люди шли мимо, нарядные, возбуждённые, с программками в руках.

Она села на ступеньку служебного входа.

Она думала о человеке, который в сентябре сказал женщине, которую любит: «Если со мной что-то случится, иди к Корнеевой».

Он не пошёл в полицию. Он не пошёл в прокуратуру. Он пошёл в театр и оставил инструкцию.

Потому что он знал, что в полиции и прокуратуре работают люди, которые могут быть в чьей-то воле. А женщина из ПЭО, которая считает, ни в чьей воле быть не может — у неё просто нет ничего, кроме цифр.

Аня подняла голову и посмотрела на тёмное здание театра.

— Григорий Ильич, — сказала она вслух. — Я не подведу.

Мимо прошла пара и посмотрела на неё.

Глава 6. Форма М-29

Бухгалтерия занимала третий этаж северного крыла и была похожа на библиотеку, в которой книги заменили папками: стеллажи до потолка, картонные корешки с номерами, и в проходах — узко, как в вагоне в час пик.

Аня пришла в восемь сорок и села на стул у стены, чтобы не мешать.

Бухгалтеров было шестеро. Пятеро — женщины в возрасте, одна — молодая, с наушниками в одно ухо, которая печатала так быстро, что клавиатура не успевала щёлкать.

Людмила Аркадьевна Пантелеева, старший бухгалтер, сидела у окна. Ей было под шестьдесят, она носила очки на цепочке и держала на столе, кроме бумаг, маленький кактус в горшке и две линейки.

— Корнеева, — сказала она, не поднимая головы. — Из ПЭО. Я помню. Вы приносили справку по амортизации в позапрошлом году, и в ней было две ошибки.

— Одна, — сказала Аня. — Вторая была округление.

— Округление — это и есть ошибка, если оно в тысячах. — Пантелеева подняла голову. — Садитесь. Что вам нужно?

Аня села на второй стул, который стоял у стола для посетителей, и положила на колени папку.

— Людмила Аркадьевна, вы звонили Владиславу Аверьянову в пятницу?

Ручка в руке Пантелеевой остановилась.

— Я звоню многим Аверьяновым.

— Вы спросили, не он ли подписывал акт приёмки. Он сказал, что он скрипач. Вы сказали: «У вас же одинаковая подпись».

Пантелеева медленно положила ручку. Потом сняла очки, протёрла их о рукав, надела обратно.

— Кто вам это сказал?

— Он.

— Он. — Она произнесла это так, как произносят слово, которое не нравится. — Значит, он вам рассказал. А вы пришли ко мне. С папкой.

— С папкой.

— А в папке?

— Пока ничего, — сказала Аня. — Пустая. Я не знаю, что туда положить, и поэтому пришла к вам.

Пантелеева смотрела на неё секунды три. Потом встала, подошла к двери, выглянула в коридор и вернулась.

— Аня, — сказала она, и это было первый раз, когда она назвала её по имени. — Я вам скажу одну вещь, и потом мы с вами будем говорить только про амортизацию.

— Хорошо.

— Двадцать второго октября мне принесли акт. Акт приёмки выполненных работ по шефмонтажу эскалаторов на «Театральной». Тридцать два миллиона двести тысяч. Подпись — Аверьянов. Дата — двадцатое октября.

Аня почувствовала, как у неё останавливается дыхание.

— Аверьянов умер четырнадцатого.

— Вот именно, — сказала Пантелеева. — Я в бухгалтерии двадцать девять лет. Я видела всякое: и подписи, поставленные задним числом, и акты, подписанные «факсимиле», и людей, которые подписывают за других, потому что «начальник в отпуске». Но акт, подписанный человеком, который умер за шесть дней до даты подписи, я видела первый раз.

— И что вы сделали?

— Я его не провела. — Пантелеева сложила руки на столе. — Я положила его в папку «На уточнение» и позвонила. Сначала начальнику отдела — он сказал: «Не суетись». Потом в службу — там сказали: «Аверьянова больше нет, а подпись есть, значит, кто-то подписал за него, такое бывает». Потом я позвонила по номеру, который нашли в его личной карточке, и попала на скрипача.

— И после этого?

— После этого, — сказала Пантелеева спокойно, — мне позвонили. Не из управления. С сотового. Мужчина. Он сказал: «Людмила Аркадьевна, вы очень добросовестный человек. Не портите себе двадцать девять лет стажа». И положил трубку.

Аня сидела тихо.

— Вы написали заявление?

— Кому? — Пантелеева посмотрела на неё. — В полицию? Я позвоню, а через день выяснится, что акт правиль-

ный, что подпись настоящая и что у меня с памятью проблемы, потому что мне шестьдесят один. Знаете, сколько таких, как я, уходило из управления с формулировкой «по собственному желанию»?

— Знаю, — сказала Аня. — Три за последние два года.

Пантелеева подняла бровь.

— Вы считали?

— Я считала. — Аня открыла папку и достала лист. — Кадровые приказы за два года. Три увольнения из финансовой службы: Зайцева — в марте прошлого года, Токарева — в декабре, Гриценко — в мае. Все трое — «по собственному», все трое — с той же должности, что и вы.

Пантелеева долго смотрела на лист.

— И вы хотите, чтобы я стала четвёртой, — сказала она.

— Я хочу, чтобы вы стали первой, кто остался. — Аня положила лист обратно. — И для этого мне нужен акт. Копия. Любая — скан, фотография, что угодно. Если он в папке «На уточнение», его можно снять на телефон за десять секунд.

Пантелеева встала, подошла к шкафу, отперла его ключом, который висел у неё на шее на резинке, достала тонкую папку и положила на стол.

— Я не буду снимать, — сказала она. — Я его отдам. — Она посмотрела на Аню поверх очков. — И вы его больше не принесёте. А я вам ничего не говорила.

— Вы ничего не говорили.

Пантелеева села обратно и взяла ручку.

— Амортизация. Восьмой процент. В прошлом году вы округлили на четыре тысячи.

* * *

Акт был на двух листах. Аня читала его в машине, на стоянке, разложив листы на коленях.

«Акт приёмки выполненных работ № 47-ШМ. Заказчик: ГУП «Метрополитен». Подрядчик: ООО «Эскалаторсервис». Объект: станция «Театральная», эскалаторные тоннели №1, №3. Предмет: работы по шефмонтажу и пусконаладке. Стоимость работ: 32 200 000 руб. НДС не облагается. Срок выполнения: с 1 сентября по 15 октября. Подпись заказчика: Г.А. Аверьянов. Дата подписания: 20 октября.»

Аня читала и запоминала.

Первое. «НДС не облагается» — так пишут, когда подрядчик на упрощённой системе. Но «Эскалаторсервис» на общей системе, в прошлом году по другому акту они выставили счёт-фактуру с НДС двадцать процентов. Значит, тридцать два миллиона — это не «без НДС», это «наличными без следа».

Второе. Сроки: с первого сентября по пятнадцатое октября. Пятнадцатое октября — четверг, за день до смерти Аверьянова. Акт подписан двадцатого. Между ними — четыре дня и один суд: в понедельник, восемнадцатого, служба путь ещё не открывала лестницу, там стоял пластиковый барьер, и Аня это помнила, потому что дважды спускалась через соседний выход.

Третье. Подпись.

Аня смотрела на неё долго. Чернильная, синяя, с завитком у последней буквы. Живая подпись, не факсимиле — факсимиле видно: оно оставляет ровный оттиск без нажима, и на бумаге нет этой маленькой ямки, которая бывает, когда ручка идёт по второму слою.

Ямка была.

Значит, кто-то взял ручку и подписал. И этот кто-то умеет подписываться как Аверьянов.

— Владислав, — сказала Аня вслух.

Она тут же записала в тетрадь: «НЕ ДУМАТЬ, ЧТО ПОДПИСАЛ ВЛАДИСЛАВ. Проверить: он мне сам сказал про подпись раньше, чем я узнала про акт. Он сказал в субботу. Акты принесли двадцать второго. Он не мог знать про подпись, если бы подписывал сам».

Она перечитала запись и поняла, что это не доказательство. Человек, который подписал, знает, что подписал, и может «признаться» раньше, чтобы выйти из подозрения.

Она перечеркнула и написала ниже: «Логика — не защита. Нужны документы».

Четвёртое. Приложение. К акту прилагалась ведомость — и в ней Аня сразу нашла то, что искала.

«Замена главного привода — 4 ед. по 2 400 000 = 9 600 000».

Те самые четыре главных привода.

Она открыла в телефоне другой документ — прошлогод-

нюю справку о ремонтах, которую она готовила ещё в марте. Пролистала. Нашла. «Замена главного привода эскалатора №3, станция "Театральная" — сентябрь 2021, подрядчик ООО "Эскалаторсервис", стоимость 2 100 000».

Аня подняла голову и посмотрела в лобовое стекло.

Привод №3 заменяли в двадцать первом году. За два миллиона сто. А сейчас его меняют снова — за два миллиона четыреста, и он же стоит в дефектной ведомости как «требующий замены», и он же — в акте от двадцатого октября.

Иными словами: на бумаге один и тот же привод меняли дважды за три года, а на станции он, скорее всего, один и тот же с завода.

Она достала телефон и набрала Ремезова.

— Илья Андреевич, у меня акт. Шефмонтаж, тридцать два миллиона двести, подпись Аверьянова, дата двадцатого октября. И в приложении — четыре привода, которые уже менялись в двадцать первом.

— Вы где?

— На стоянке у управления.

— Уезжайте оттуда. — Голос у него был сухой и быстрый. — Не в офис. Домой. Пешком, через метро, и по дороге никому не показывайте эти листы, даже в лифте. Я приеду через час.

— Что случилось?

— Помните ложу? — сказал Ремезов. — Я её поднял. Она оформлена на ООО «Прогресс-Аудит». Директор — Велич-

ко. Ирина Величко.

Аня замерла.

Ирина Величко работала в планово-экономическом отделе. Она сидела через два стола от Ани. Она приносила ей кофе, когда Аня задерживалась. Она была единственным человеком в отделе, который ни разу не сказал: «Корнеева, ты слишком много считаешь».

* * *

Ремезов приехал в половине восьмого, принёс пакет с двумя бутылками воды и папку, и сел на кухне, не сняв пальто.

Квартира была маленькая: комната, кухня, коридор, где на вешалке висели три плаща. Аня жила здесь с тех пор, как развелась, и за четыре года так и не повесила ни одной картины — на стене остались светлые прямоугольники от прежних.

— Показывайте, — сказал Ремезов.

Она положила акт на стол под лампу.

Он читал медленно, водя пальцем по строкам, и Аня смотрела на его руки и на то, как он шевелит губами, беззвучно проговаривая слова.

— Так, — сказал он, дочитав. — Что вы увидели?

— Всё, что увидела, я записала. — Она открыла тетрадь. — НДС не облагается, хотя подрядчик на общей системе. Сроки: работы до пятнадцатого октября, акт двадцатого. Подпись живая, с нажимом. И четыре привода, которые меняли в двадцать первом.

— А ещё?

— Ещё? — Аня перечитала свои записи. — Ещё номер акта. Сорок семь. В этом году у «Эскалаторсервиса» по нашему управлению было двенадцать актов, и последний, который я видела, был тридцать один. Значит, между тридцать первым и сорок седьмым — шестнадцать актов, которых я не видела.

— Умница. — Ремезов достал из папки лист. — Я запросил реестр. За три недели до смерти Аверьянов подписал девять актов на общую сумму сто восемь миллионов. Шефмонтаж, пусконаладка, «обследование технического состояния», «разработка проекта производства работ», «услуги по техническому надзору». Девять актов, и ни в одном нет ни одного физического результата. Ни одного нового болта на станции.

— То есть деньги уходили за слова.

— За слова. — Он положил лист. — А теперь главное. Все девять подписаны в период с третьего по четырнадцатое октября. То есть за одиннадцать дней до убийства Аверьянов подписал сто восемь миллионов актов. А вы мне говорите, что он собирался смету на эскалаторы не согласовывать.

Аня покачала головой.

— Он бы не подписал.

— Почему?

— Потому что он мне сам сказал в четверг: «Если у нас в этом году триста миллионов на эскалаторы, значит, где-то не

хватает ста восьмидесяти». — Она подняла глаза. — Илья Андреевич, он говорил это не как начальник. Он говорил это как человек, который нашёл дырку и не знает, где она.

Ремезов откинулся на спинку стула.

— Хорошо. Допустим, подписи поддельные. Допустим, есть человек, который умеет подписываться как Аверьянов, и есть люди, которые приносят ему акты. Тогда вопрос: зачем убивать Аверьянова, если он и так подписывал?

— Затем, что он перестал, — сказала Аня.

— Или затем, что он узнал, что за него подписывают, — сказал Ремезов. — И сказал, что расскажет.

Они помолчали.

На кухне тикали часы — механические, старые, с маятником в пластиковом корпусе. Аня купила их на блошином рынке, потому что механические часы не зависят от электричества, а в её жизни уже был один день, когда весь дом остался без света и она не смогла понять, сколько времени.

— Илья Андреевич, — сказала она. — Можно глупый вопрос?

— У вас не бывает глупых вопросов. У вас бывают вопросы, на которые мне не хочется отвечать.

— Почему вы мне верите?

Он посмотрел на неё.

— Я вам не верю, — сказал он спокойно. — Я вам проверяю. Каждый раз, когда вы мне что-то говорите, я это проверяю, и каждый раз это подтверждается. Так что я вам не

верю. Я вам доверяю данные.

— Это не то же самое.

— Это лучше, — сказал Ремезов. — Вера кончается, когда человек ошибается. Данные можно уточнить.

Аня отвернулась к плите, чтобы он не видел её лица.

— Значит, Величко, — сказала она через секунду.

— Величко. — Ремезов достал телефон. — ООО «Прогресс-Аудит» зарегистрировано в двадцать первом году. Директор и единственный участник — Величко Ирина Сергеевна, тридцать четыре года. Основной вид деятельности — «деятельность в области права и бухгалтерского учёта». Выручка за прошлый год — ноль. Убыток — четыреста тысяч. И при этом она платит за ложу в театре, где аренда сезона стоит миллион двести.

— На какие деньги?

— Вот и я спросил. — Он повернул телефон к ней. — Смотрите. Ложа оплачена не деньгами. Оплачена векселем. Вексель выдан ООО «Эскалаторсервис» в счёт расчётов по договору. То есть «Эскалаторсервис» заплатил театру векселем за ложу, в которой сидел Баронов.

Аня села напротив.

— Ирина Величко работает с Бароновым.

— Или Ирина Величко — это ООО «Прогресс-Аудит», которое работает на Баронова. — Он убрал телефон. — Разница есть, но для нас маленькая.

— Она сидит через два стола от меня.

— Я знаю. — Ремезов помолчал. — Аня, я вас не буду просить. Вы понимаете, о чём я.

— Понимаю. — Она открыла тетрадь и посмотрела на страницу, где был записан её список. — Вы хотите сказать: не подходите к ней, не задавайте вопросов, не показывайте, что знаете.

— Именно.

— А если она подойдёт?

— Тогда вы ей скажете, что у вас сложности с отчётом по амортизации. — Он встал. — И расскажете ей про округление в тысячах. Это её усыпит.

Он пошёл в коридор, и Аня пошла за ним.

— Илья Андреевич.

— Да.

— Спасибо.

Он обернулся у двери.

— За что?

— Никто мне не сказал за четыре года: «Я вам доверяю данные».

Ремезов стоял и держался за ручку двери.

— Спокойной ночи, Аня, — сказал он и вышел.

* * *

Она мыла чашку, когда поняла, что часы стоят.

Маятник качался, но стрелки не двигались: было сорок минут седьмого, а на самом деле шёл десятый час.

Аня поставила чашку.

Она прекрасно знала, как это бывает: механические часы останавливаются, если их не завести, и она забывала их заводить. Она подошла, открыла дверцу корпуса, взяла ключик и завела пружину — двенадцать оборотов. Стрелки дёрнулись.

Всё нормально. Всё нормально, это просто часы.

Она села и выдохнула. Потом обвела глазами кухню.

Стол. Две чашки. Акт — она уже убрала его в папку, папка лежала на подоконнике, за занавеской. Холодильник. Плита.

И часы.

Они шли.

Аня сидела очень прямо и слушала.

В квартире было тихо. Потом за стеной заплакал ребёнок у соседей, и она вздрогнула так, что опрокинула чашку.

Она встала и пошла в коридор, и у неё в голове было два голоса одновременно.

Первый говорил: ты просто устала, у тебя были ОКР-проявления в двадцать три года, ты сама это помнишь, ты проверяла дверь по одиннадцать раз.

Второй говорил: часы стояли не потому, что остановились. Маятник качался и стрелки стояли одновременно? Ты видела, как качается маятник? Ты посмотрела на маятник, потом на стрелки, потом снова на маятник?

Она не помнила. Она смотрела, но не запомнила.

— Проверь, — сказала она вслух. — Проверь, проверь, проверь.

Она проверила: часы шли. Пружина была ослаблена, ко-

гда она завела, — она помнила усилие ключа. Значит, часы просто не были заведены. Значит, ничего не было.

Аня села на пол в коридоре, прислонилась спиной к вешалке и просидела так минут десять.

Потом встала, открыла тетрадь и на чистой странице написала:

«18 октября? Нет, 21 октября. Вечер. Часы остановились. Завела. Проверила пружину — была ослаблена, значит, обычное дело.

НО: в квартире на подоконнике лежала папка с актом. Я её положила в сумку, когда вернулась, и сумка стояла в коридоре. Папка оказалась на подоконнике.

Я могла сама её переложить. Я не помню, как перекладывала.

Не вывод: «в квартире был человек». Вывод: «я не помню».

Проверить завтра: отпечатки на папке? Спросить Ремезова, можно ли снять. Замок на двери — цел. Окно закрыто. На полу — ничего.

И ещё: у меня сдвиг по времени. В таких состояниях я не должна принимать решений о людях».

Она закрыла тетрадь, взяла телефон и набрала номер матери.

Мать ответила после шестого гудка, сонная.

— Аня? Что-то случилось?

— Нет, — сказала Аня. — Просто скажи мне, кто я.

— Что?

— Скажи, как меня зовут.

В трубке помолчали.

— Тебя зовут Анна Сергеевна Корнеева, — сказала мать очень спокойно, без раздражения, как говорят с человеком, которому это нужно. — Ты родилась двадцать второго апреля. Ты работаешь в метрополитене, в планово-экономическом отделе. У тебя синие глаза и шрам на брови, потому что ты упала с велосипеда в девять лет. Ты не любишь варёный лук и любишь Баха. Этого достаточно?

Аня сидела на полу и держала телефон двумя руками.

— Достаточно, — сказала она.

— Аня. — Мать помолчала. — Ты одна?

— Да.

— Я приеду завтра.

— Не надо.

— Я приеду, — сказала мать и положила трубку.

Аня сидела в тёмном коридоре и думала о том, что в этом городе, наверное, есть только один человек, который знает её наизусть — и это не она сама.

* * *

Актов было не один.

Вечером Пантелеева принесла ещё три.

— Смотри, — сказала она, раскладывая их на столе. — Это всё, что у меня есть. Я копировала для себя, потому что мне было страшно.

Аня смотрела на них.

Первый — акт № 47-ШМ на тридцать два миллиона двести тысяч.

Второй — акт № 51-ШМ на двенадцать миллионов.

Третий — акт № 63-ШМ на восемь миллионов четыреста.

Все три — на подрядчика «Уралэскалатор-Трейд».

Все три — с подписью Аверьянова.

Все три — в октябре. Двадцатого, двадцать первого и двадцать третьего.

Аня смотрела на даты и ничего не понимала.

— Людмила Петровна, — сказала она. — Двадцатого он был мёртв.

— Я знаю.

— Двадцатого октября Аверьянов лежал в морге. А здесь стоит его подпись.

Пантелеева села.

— Аня, — сказала она, — я тебе скажу, что я думаю. Я думаю, что на этих актах не подписи. Я думаю, что это аппликации.

— Что?

— Ну вот смотри. — Пантелеева взяла акт. — Я работаю в бухгалтерии двадцать девять лет. Я знаю, как выглядит живая подпись. Она идёт с нажимом. Внизу нажим сильнее, потому что рука устаёт. — Она показала. — А здесь нажим везде одинаковый. Это не рука. Это ксерокс.

Аня смотрела на подпись.

— И вы это видели, — сказала она.

— Видела.

— И подписывали?

Пантелеева подняла на неё глаза.

— Платежи визирует главный бухгалтер, — сказала она. — А я готовлю акты к согласованию. Я их не подписываю.

Аня молчала.

— Аня, — сказала Пантелеева. — Я тебе скажу одну вещь. Я двадцать девять лет работаю в этом отделе. За это время у нас было три главных бухгалтера, четыре начальника и два начальника управления. И я ни разу не спросила, почему в актах стоит подпись человека, который в этот день был в отпуске. — Она смотрела в стол. — Потому что если бы я спросила, меня бы просто не позвали на следующую смену.

Аня отложила акт.

— И что теперь?

— А теперь, — сказала Пантелеева, — я тебе их отдам. Все. И напишу объяснение. — Она подняла глаза. — Я не хочу, чтобы моя внучка в школе узнала, что бабушка двадцать девять лет складывала подделки.

* * *

Форму М-29 Аня искала в архиве три дня.

Это была не одна форма, а папка: за 2021, 2022, 2023 годы. Три папки, по сто двадцать листов.

Она читала их в архиве, на подоконнике, при свете настольной лампы.

Форма М-29 — это акт о приёмке выполненных работ по ремонту. В нём есть всё: наименование, количество, цена, норма, и отдельная графа — «материалы, полученные при разборке и подлежащие возврату».

Именно эта графа её и зацепила.

Аня смотрела на неё минут двадцать.

В графе «материалы, подлежащие возврату» по всем актам стоял прочерк.

— Прочерк, — сказала она вслух.

Это значило, что при ремонте эскалатора не было ни меди, ни стали, ни подшипников, которые можно вернуть. А ремонт эскалатора — это замена главного привода весом шесть с половиной тонн и ступеней весом тридцать килограммов каждая.

Старый привод невозможно выкинуть. Его сдают в металлолом. И в акте это обязательно пишут: сколько тонн чугуна, сколько меди, сколько стали.

Аня листала дальше.

Прочерк. Прочерк. Прочерк.

Сто двадцать актов — и в каждом прочерк.

Она закрыла папку.

— Господи, — сказала она. — Их не просто не меняли.

Она встала и пошла к Пантелеевой.

— Людмила Петровна, — сказала она. — А если в акте стоит прочерк в графе «материалы», что это значит?

Пантелеева подняла на неё глаза.

— Это значит, — сказала она медленно, — что работы не было.

— Совсем?

— Совсем. — Пантелеева отложила ручку. — Аня, если ты заменяешь привод, ты старый сдаёшь в металлолом. Это не деньги большие, но это обязательно. Прочерк в этой графе — это подпись человека, который писал акт с потолка.

* * *

Аня вернулась в архив и села на подоконник.

Она достала тетрадь и записала:

«Форма М-29. Графа «материалы, подлежащие возврату».

Сто двадцать актов за три года. В каждом — прочерк.

Значит, ни один главный привод не был заменён. Ни один.

И при этом в актах есть вес, цена, норма, и подписи четырёх человек.

Прочерк в этой графе — это как молчание в разговоре. Все говорят, а один молчит, и именно он говорит правду».

Глава 7. Отпечатки

Утром приехал эксперт.

Его звали Марат, он был молодой, в пуховике, с чемоданчиком, и он обрадовался Ане так, как радуются люди, которых редко зовут.

— Криминалист, — сказал он, ставя чемоданчик на пол. — Здравствуйте. Илья Андреевич сказал, что вы тут... — он замялся, — что у вас был кто-то.

— Или не был. — Аня стояла в коридоре, сложив руки. — Это тоже вариант, и я прошу его проверять в первую очередь.

Марат поднял голову.

— Хорошо, — сказал он. — Так даже лучше.

Он работал два часа. Порошок, кисточка, плёнка, лампы, и в какой-то момент — цианоакрилат, от которого на кухне запахло, как в кабинете зубного.

Аня сидела на табуретке в коридоре и смотрела, как он прикладывает плёнку к ручкам.

— Папка, — сказала она. — Вот эта, на подоконнике.

— Уже. — Марат поднял плёнку к свету. — Три отпечатка. Два больших, один частичный. — Он помолчал. — Отпечатки хорошие, свежие.

— И чьи?

— Это я вам скажу через день. Картотеки у нас... — он не договорил.

— Через день.

— Ну, может, через два.

Аня кивнула. Она ждала другого ответа, но она привыкла ждать.

— А замок?

— Замок в порядке. Царапин нет, сверления нет. — Марат подошёл к двери и показал. — Вот здесь, видите, риски? Это старые, от ключа. Они все в одну сторону. Если бы кто-то открывал отмычкой, риски были бы с двух сторон.

— А если у кого-то был ключ?

— Тогда я ничего не скажу. — Он развёл руками. — С ключом следов нет.

Аня сидела и думала о том, у кого может быть ключ от её квартиры.

Мать. Бывший муж — но он уехал в другой город три года назад, и она сама меняла замок. Соседка Зинаида Петровна, которая поливает цветы, когда Аня в отпуске, — у неё второй комплект.

— Марат, — сказала она. — А окно?

— Закрыто, шпингалет изнутри. Рамы не отжимали.

— Значит, либо никто не входил, либо вошёл в дверь.

— Либо вошёл в дверь, — согласился Марат и щёлкнул застёжкой чемоданчика. — Аня, можно я вам скажу? Я такие вызовы получаю раз в неделю. И знаете, что я заметил? Люди, которые зовут эксперта «просто проверить», обычно правы. Не всегда в деталях. Но в том, что что-то было, —

почти всегда.

— Почему?

— Потому что те, кто ошибается, звонят не эксперту, а врачу. — Он натянул шапку. — Ждите меня к вечеру.

* * *

Мать приехала в двенадцать, с сумкой, в которой было два литра бульона, пирог с капустой и вязаные носки.

Она вошла, поставила сумку на пол, сняла пальто и, не поздоровавшись, сказала:

— В коридоре холодно. У тебя из-под двери дует.

— Там щель. Я заклеивала.

— Плохо заклеивала.

Аня стояла и смотрела на неё.

Женщина шестидесяти трёх лет, невысокая, с короткой стрижкой и родинкой над верхней губой. Она была похожа на мать. Она говорила как мать. Она пахла как мать — «Красной Москвой» и какой-то выпечкой.

Но щелчка не было.

Аня сделала то, что делала всегда. Она проверила:

— Мам, скажи, как зовут соседку с третьего этажа.

Мать остановилась с сумкой в руках.

— Зинаида Петровна, — сказала она. — Она тебе цветы поливает и берёт за это твои конфеты, которые ты не ешь. Аня, я не буду каждый раз это делать.

— Прости.

— Не прости. — Мать пошла на кухню. — Просто дай

мне бульон поставить.

Они сидели на кухне, и Аня ела пирог, и мать рассказывала про дачу, про то, что в этом году не уродилась смородина, и про то, что у неё болит колено.

— Аня, — сказала она вдруг, посреди разговора. — Ты спишь?

— Сплю.

— Сколько?

— Часа по пять.

— Пять — это не сон, это обморок. — Мать поставила чашку. — Я тебе скажу одну вещь. Я сорок лет тебе её говорю и буду говорить, потому что мне больше нечего сказать. Ты можешь не узнавать меня сколько угодно. Я тебя узнаю.

Аня положила вилку.

— Мам.

— Что.

— Я тебе признаюсь. — Аня смотрела в стол. — Я иногда думаю: а вдруг ты не мать. Вдруг мать — это другая женщина, а ты... — она сглотнула. — Вдруг ты пришла однажды вместо неё, и я не заметила, потому что не заметила бы.

На кухне стало очень тихо.

Мать сидела прямо и смотрела на неё.

— Ну и? — сказала она.

— Что «ну и»?

— Ну и что дальше? — Мать пожала плечами. — Допустим, я не мать. Тогда кто я? Женщина, которая тридцать

лет ездит к тебе с бульоном? Женщина, которая знает, что ты не любишь варёный лук, что ты боишься лифтов, что у тебя шрам от велосипеда, что ты в одиннадцать лет плакала, потому что папа уехал, и что ты до сих пор не можешь смотреть, как кто-то стоит спиной к двери? Аня. Если это не мать, то кто тогда мать? Я бы и сама хотела познакомиться.

Аня засмеялась — впервые за неделю по-настоящему, до слёз.

Мать встала и налила ей бульона.

— Ешь, — сказала она. — Это не лечит, но горячее.

* * *

Вечером позвонил Марат.

— Аня, я по картотеке. — Он говорил быстро и немного сбивчиво. — Отпечатки на папке: один ваш, частичный. Второй — ваш же, с прошлого года где-то. А третий... — он помолчал. — Третий не значится.

— Что значит «не значится»?

— Значит, человек никогда не привлекался, не служил, не получал паспорт по отпечаткам, не оформлял разрешение. У нас база не полная, но если бы он попадал хоть куда-то, было бы.

— А если он никогда не попадал?

— Тогда его нет в базе. — Марат помолчал. — Аня, я вам вот что скажу: отпечаток очень чёткий. Это не случайный след. Человек взял папку двумя руками и держал её секунды три-четыре. Это не тот, кто быстро прошёл и задел. Это тот,

кто читал.

Аня стояла в коридоре с телефоном и слушала своё сердце.

— Спасибо, Марат.

— Я Илье Андреевичу отчёт отдам. И, Аня, — он замялся, — он просил вам передать, чтобы вы сегодня ни одна не поехали никуда. И что он приставит.

— Это он так выразился?

— Он выразился хуже, — честно сказал Марат.

* * *

Она не пошла никуда, но и спать не легла.

Сидела на кухне, при лампе, с тетрадью, и разбирала то, что у неё было.

«Что я знаю:

1. Аверьянов убит в четверг, 14 октября, между 6:30 и 7:00, на лестнице служебного входа. Удар по затылку, один, точный. 2. Его карта открыла турникет в 6:51 — после смерти. 3. В 6:40 на "Театральной" человек, похожий на него, шёл по платформе и не хромал. 4. В 11:26 в коридоре человек в его пальто не обернулся на своё имя. 5. В 19:58 человек в его пальто говорил его словами моим голосом. 6. В субботу, 23 октября, человек с его рукой стоял в ложе театра рядом с Бароновым и хлопал. 7. Акт на 32,2 млн подписан им 20 октября, через шесть дней после смерти. 8. Смета на эскалаторы завышена на 64,8 млн, и дефектная ведомость врёт про 4 привода. 9. Ложа оформлена на ООО "Прогресс-Аудит",

директор И.С. Величко — мой коллега. 10. Наконец: в моей квартире кто-то читал папку с актом, и отпечаток не в картотеке.

Что из этого следует?

Первое: двойник существует, и это не Владислав. У Владислава другие руки (нет трещины) и он не хромает на ту ногу... стоп. Владислав не хромал. Я видела его в футляре, он стоял ровно. Но я не видела, как он ходит. ПРОВЕРИТЬ.

Второе: человек, который подписывает за Аверьянова, должен иметь образец. Подпись сканируют с документа. Значит, он имеет доступ к документам, где подпись есть в открытом виде: доверенности, договоры, приказы.

Третье: тот, кто убил, знал, что бьёт по затылку одним ударом. Значит, либо у него был опыт, либо он тренировался.

Четвёртое: если двойник хромает на ту же ногу, что и Аверьянов, — а я видела только что у двойника руку и походку, — то он не двойник. Тогда он... нет. Стоп.

Про хромоту у меня данные только про человека на платформе: он НЕ хромал, и я решила, что это странно. Но почему это странно? Аверьянов хромал. Значит, человек, который хочет быть Аверьяновым, должен хромать, и он не старался. Значит, он не готовился быть им утром. Значит, это была не игра.

Тогда кто хромал? Аверьянов хромал. В четверг хромал. Значит, утром 14 октября на платформе был человек, который не хромал, и это был не Аверьянов.

Или Аверьянов не хромал. ПРОВЕРИТЬ: откуда я знаю, что он хромал?»

Она замерла с ручкой в руке.

Откуда она знает, что Аверьянов хромал?

Из планёрок. Из того, как он шёл от двери до стола. Из того, что он всегда садился первым, потому что хотел сесть прежде, чем все заметят, что он идёт медленно.

Она помнила его походку.

Но узнавание у неё не работало. А память на походку — работала.

— Откуда я знаю, — сказала она вслух и в первый раз за неделю почувствовала страх, который не был страхом за себя. — Откуда я знаю, что на платформе был не он?

Она не могла ответить.

Она не могла ответить, потому что единственный её инструмент — это память о повадках, а память показывает то, что уже решила голова.

Аня положила ручку и сидела неподвижно.

«Ты не сумасшедшая, — сказала она себе. — Но ты и не свидетель».

И записала на новой странице, аккуратно, печатными буквами:

«Правило. Я не свидетель. Я — человек, который ищет противоречия в документах.

Лицо — не доказательство. Рука — не доказательство. Походка — не доказательство.

Доказательство — бумага, на которой написано время и стоит подпись.

Ищи время. Не лицо».

* * *

В двадцать три сорок она всё-таки вышла из дома.

Не потому, что была смелая. Потому что не могла сидеть в четырёх стенах, в которых кто-то читал её бумаги, и слушать, как идут часы.

Она надела плащ, взяла сумку и спустилась по лестнице — не в лифте, в лифте она боялась с тринадцати лет, — и вышла на улицу, и там было холодно и пусто, и на всей улице горел один фонарь.

До метро было семь минут.

Она шла и слушала. За ней не шли. Или шли так, что она не слышала, и это было хуже.

В вестибюле она приложила карту, и турникет щёлкнул, и она подумала о том, что её карта тоже всё записывает: время, станцию, турникет. «В шесть пятьдесят один вошёл человек с его картой». Всё, что нужно, чтобы найти человека, — это его карта. И всё, что нужно, чтобы его спрятать, — это чужая.

Эскалатор шёл вниз, и в его металлическом гудении была нота, которую Аня слышала каждый день и никогда не замечала.

Вагон был почти пустой: женщина с сумками у двери, двое подростков в наушниках, мужчина, спавший так, что

голова его лежала на плече соседа, и Аня.

Она села у окна, напротив которого ничего не было, кроме тёмного стекла и отражений.

Поезд тронулся, и в отражении появился человек.

Он сидел на другом конце вагона, у двери, в тёмном пальто, и читал газету — настоящую, бумажную, сложенную вдвое.

Аня не обернулась. Она смотрела в стекло и видела его отражение, и в отражении было видно, что газета у него не двигается: он не читал. Он держал её так, чтобы не было видно лица.

Она ощупала телефон в кармане.

«Не оборачивайтесь. Звоните».

Аня достала телефон и набрала Ремезова — просто чтобы горел экран, чтобы в отражении было видно, что она звонит.

Он ответил на втором гудке.

— Аня?

— Я в метро, — сказала она громко. — Еду от «Северной» по кольцу. В вагоне человек, который сидит и не читает газету.

— Выходите на следующей. — Голос был совершенно ровный. — Я буду через десять минут. Не отключайтесь.

Поезд замедлился. «Университетская». Двери открылись.

Аня встала. Человек в пальто встал одновременно с ней.

Она вышла на платформу, и он вышел на платформу, и между ними было метров пятнадцать, и в этом пространстве

стояли трое пассажиров, которые ничего не замечали.

Аня шла к эскалатору.

Он шёл за ней — не быстро, не медленно, ровно, как ходят люди, которым некуда спешить.

И тогда она остановилась.

Она остановилась потому, что в голове у неё щёлкнуло. Не лицо. Другое.

Походка.

Он не хромал.

Аверьянов хромал двенадцать лет. Аверьянов, идя по коридору, чуть припадал на правую ногу и при этом держал левое плечо ниже правого, и от этого его пиджак всегда перекашивался, и Аня помнила, как на планёрке в марте он поправлял пиджак, потому что тот перекосился.

Человек, который шёл за ней, не припадал. Он шёл ровно и держал плечи ровно.

Аня повернулась.

Он стоял в трёх метрах и держал газету в опущенной руке.

Ему было лет пятьдесят. Лицо было лицо Аверьянова — то самое лицо с фотографии, которую ей показывал Ремезов, только чуть более гладкое, чуть более молодое, и глаза не такие.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна, — сказал он.

Голос был не её. Голос был его собственный: сухой, тихий, с лёгкой хрипотцой.

Аня держала телефон в руке, и в телефоне молчал Реме-

зов.

— Вы меня знаете, — сказала она.

— Я вас видел. — Он чуть наклонил голову. — В четверг, в коридоре. Вы шли и смотрели на меня так, как смотрят люди, которые умеют считать.

— Кто вы?

Он помолчал.

— Я тот, кого вы ищете, — сказал он. — И я не тот, кто вам нужен.

— Это ничего не значит.

— Это значит больше, чем вы думаете. — Он сделал шаг назад, к стене, и Аня увидела его руку на газете: широкий большой палец, ноготь, и на ногте — продольная трещина от основания к краю.

— Вы не Аверьянов, — сказала Аня.

— Не Аверьянов.

— У вас его рука.

— У меня его перчатки, — сказал он, и в этом было что-то такое усталое, что Аня не нашла слов. — Перчатки, пальто, часы и манера ставить чашку на два сантиметра от края стола. Всё, кроме одного. — Он поднял руку и показал большим пальцем на ноготь. — Вот этого у меня нет. Это грим. Лак и тонкая леска. Держится четыре часа, потом отваливается.

Аня стояла на платформе и смотрела на палец, на котором была нарисована чужая трещина.

— Кто вы?

— Меня зовут Лев Сергеевич Рощин. — Он сказал это спокойно, как человек, который давно решил, что назовёт имя, если спросят. — Я актёр. Миманс, театр оперы и балета. Тридцать лет на сцене, из них двадцать восемь — без слов.

— Гримёр, — сказала Аня.

— Загримироваться под человека — это не сложно, если у человека есть характер. У Григория Ильича характер был. — Рощин чуть усмехнулся. — Он хромал, он перекашивал пиджак, он всегда садился первым. Мне нужно было три недели, чтобы научиться его походке, и я до сих пор её не выучил: я хожу прямо, а он нет. Поэтому на платформе вы и остановились. Умница.

— Значит, это вы были на платформе в шесть сорок.

— Я.

— И в коридоре в одиннадцать двадцать шесть.

— Я.

— И в четверг вечером в тёмном коридоре. — Аня слышала, как у неё дрожит голос. — Вы говорили моим голосом.

Рощин молчал.

— Моим голосом, — повторила Аня. — Вы записали, как я говорю, и говорили моим голосом.

— Я не записывал, — сказал он тихо. — Я слышал. У меня слух. Я двадцать восемь лет работаю в театре, где восемьдесят человек разговаривают одновременно, и научился различать голоса. Ваш голос я слышал один раз, в четверг утром, когда вы сказали: «Григорий Ильич, у меня смета».

Больше мне не понадобилось.

Аня стояла и думала, что это самое страшное, что ей говорили за всю жизнь, — и при этом в этом не было угрозы.

— Зачем? — спросила она.

— Затем, что меня попросили.

— Кто?

— Григорий Ильич, — сказал Рощин.

Поезд подошёл к платформе, двери открылись, и из вагона вышли двое, и свет на секунду стал ярче.

— Он нанял вас, — сказала Аня. — До смерти.

— Он нанял меня в августе. — Рощин держал газету двумя руками, как держат зонт в дождь. — Он сказал: «Лев, у меня есть ощущение, что я не доживу до зимы. Мне нужно, чтобы иногда вместо меня появлялись вы».

— Зачем?

— Затем, что человек, который собирается меня убить, должен иногда думать, что я жив. — Рощин посмотрел на неё. — И затем, что человек, который собирается меня убить, должен иногда думать, что я не там, где он думает.

Аня слышала в трубке дыхание Ремезова.

— В четверг вы были в коридоре, — сказала она. — Днём. Он уже был мёртв.

— Да.

— Зачем вы пошли после смерти?

— Затем, что я обещал. — Рощин смотрел на неё, и в его лице было что-то, от чего Аня почувствовала себя младше.

— Он сказал: «Лев, если что-то случится, три дня ходи вместо меня. Три дня. Пока они не поймут, что я всё ещё тут». — Он помолчал. — Я думал, он про долги. Про женщин. Про что угодно. Я не думал, что он про смерть.

— А в субботу? В театре?

— В субботу меня не просили. В субботу меня пригласили. — Впервые в его голосе появилось что-то жёсткое. — Мне позвонили из «Эскалаторсервиса» и сказали: «Лев Сергеевич, есть деликатная работа. Один вечер. Ложа». Я согласился, потому что мне сказали, что это в память о нём.

— Кто позвонил?

— Мужчина. Молодой. Он сказал, что он помощник господина Баронова. — Рощин чуть наклонил голову. — Я знаю, о чём вы думаете. И вы правы. Я сидел в ложе с человеком, который, возможно, заказал Григория Ильича, и я хлопал. Мне за это заплатили двадцать тысяч.

— И вы взяли.

— И я взял. — Он смотрел прямо. — Я актёр миманса. У меня пенсия четырнадцать тысяч. Мне шестьдесят один год, и я играю тень дерева.

Молчание длилось долго.

— Анна Сергеевна, — сказал Рощин. — Вас же слушает следователь?

Аня вздрогнула.

— Да.

— Хорошо. — Он сунул газету под мышку. — Тогда пе-

редайте ему. В понедельник, двадцать пятого, в одиннадцать утра, мне позвонили и сказали приехать в управление к трём, «на опознание». Я не поехал — испугался. А потом я узнал, что в три часа в управлении никого не было. Понимаете?

— Нет.

— Кто-то знал, что я изображаю Григория Ильича, — сказал Рощин. — И этот кто-то хотел, чтобы я приехал в управление в три часа дня. Один.

— Кто?

— Я не спросил, — сказал он. — Я и так слишком много.

Он повернулся и пошёл к эскалатору, и Аня стояла, не двигаясь, и смотрела, как удаляется его спина в тёмном пальто.

— Стойте, — сказала она. — Лев Сергеевич.

Он обернулся.

— Вы сказали, у него было «ощущение». Аверьянов знал, кто его убьёт?

— Он знал, кто ему угрожает, — сказал Рощин. — Он говорил про человека, которого «держат в руках деньги, а не страх». Я спросил: это мужчина или женщина? Он засмеялся и сказал: «Лев, это неважно. Женщины в деньгах точнее».

Эскалатор поднимал его вверх, и его пальто становилось меньше и меньше.

В трубке Ремезов сказал:

— Я наверху. Не двигайтесь.

— Илья Андреевич, — сказала Аня, — вы всё слышали?

— Всё, — сказал он. — И я вам скажу, что мне это не нравится больше, чем всё остальное. Если он говорит правду, то кто-то в моём управлении вызвал двойника на три часа дня в понедельник — чтобы его встретить.

— И он не приехал, потому что испугался.

— Он не приехал, потому что он умнее меня, — сказал Ремезов.

* * *

Мать приехала в субботу и сразу начала мыть посуду.

— Мама, я сама.

— Сиди.

Она мыла посуду двадцать минут, а потом села напротив и сказала:

— Аня, я тебе скажу одну вещь, и ты не обижайся.

— Хорошо.

— Ты не больна.

Аня подняла на неё глаза.

— Мама, у меня диагноз.

— У тебя диагноз, — согласилась мать. — У меня давление. У твоего отца был диабет. Это не значит, что мы не люди.

Аня смотрела на неё.

— Мама, — сказала она. — Я не узнаю тебя в лицо.

— Ну и что?

— Как «ну и что»?

Мать пожала плечами.

— Аня. Ты меня не узнаёшь, потому что у меня лицо. — Она поправила фартук. — А ты меня узнаешь по борщу, по тому, как я вздыхаю, и по тому, что я всегда ставлю чашку на левый край стола. — Она помолчала. — Я тебе скажу: многие люди узнают своих мужей двадцать лет и всё равно ничего про них не знают.

Аня засмеялась и вытерла глаза.

— Мама.

— Что?

— Как так получилось, что ты у меня умная?

— Я всю жизнь работала в регистратуре, — сказала мать. — Я в день видела сто человек. И я тебе скажу: лиц я не помню вообще. Ни одного. — Она встала. — Зато я помню, кто кричит на детей, а кто платит за бахилы.

* * *

Вечером мать уехала, и Аня сидела одна.

Она достала тетрадь и записала:

«Мать говорит: она не помнит лиц. Ни одного. Она узнаёт людей по тому, как они платят за бахилы.

А я думала, что я одна такая.

Оказывается, так живут очень многие люди. Просто у них это не называется диагнозом».

Глава 8. Окно в движении

«Окно» — это когда поезда не ходят.

Слово официальное: в графике так и написано, «окно», и на это время снимают напряжение с контактного рельса, и пускают в тоннель людей, которые не машинисты.

Асланов согласился сразу.

— Только в ночь с четверга на пятницу, — сказал он по телефону. — И только со мной. И вы наденете то, что я скажу, а не то, в чём вы ходите на работу.

В четверг в двадцать три сорок Аня стояла у ворот депо, и Асланов выдал ей каску, куртку с отражающими полосами, сапоги на два размера больше и фонарь.

— Это для вас, — сказал он, отдавая ещё одну вещь: тонкую палку с крюком на конце. — Заземляющая штанга. Не трогайте её без меня. И запомните главное: если я сказал «стой» — вы стоите, как будто вас нет.

— А если я не услышу?

— Тогда я вас ударю, — сказал Асланов без всякой угрозы в голосе. — В тоннеле не спорят. В тоннеле слушаются.

Их было пятеро: Асланов, Аня, двое монтёров из службы электроснабжения и женщина из СЦБ с прибором, похожим на большой телефон.

Они спустились по служебной лестнице — не той, на которой умер Аверьянов, а в двухстах метрах дальше, у венти-

ляционной шахты, — и Аня впервые оказалась внизу.

Первое, что она почувствовала, был воздух.

Он был не холодный и не тёплый. Он был никакой: сухой, пыльный, с запахом металла и машинного масла, и в нём была своя тишина, которая не пустая, а плотная, как вата.

— Свет включат через минуту, — сказал Асланов. — Пока стойте.

Свет включили, и тоннель оказался не таким, каким она его представляла.

Он был тесный.

Круглый свод, облицованный чугунными тюбингами с рёбрами, как кастрюля, и от стены до стены — метров пять, не больше. Слева — путь: два рельса, между ними шпалы, а сбоку, на кронштейнах из фарфора, — третий рельс, контактный, в деревянном кожухе.

— Восемьсот двадцать пять вольт, — сказал Асланов, кивнув на него. — Сейчас снято. Но правило прежнее: пока начальник участка не принесёт вам подтверждение, что заземлено, вы на него не смотрите даже.

— Почему не смотреть?

— Потому что человек, который смотрит, — сказал он, — рано или поздно трогает.

Они пошли.

Аня шла по левой стороне, вдоль кабельных лотков, и Асланов шёл впереди, и его фонарь выхватывал из темноты то, чего она не ожидала увидеть: номера на стене, написан-

ные краской; жестяные таблички «12+35»; связки проводов, прикрученных к потолку; в нишах — ящики с песком и огнетушители; а в одном месте — железную дверь с надписью «ВЫХОД» и стрелкой.

— Пикетаж, — сказал Асланов, перехватив её взгляд. — Метры от начала линии. Двенадцать километров тридцать пять метров. По нему машинист знает, где он, если связь пропала.

— А если связь пропала и пикетажа не видно?

— Тогда по шпалам, — сказал он. — Шпала — это шаг. Пятьсот шпал — примерно триста метров.

Они прошли ещё двести метров, и Аня поняла, что у неё в сапогах полно мелкой каменной пыли, а в голове — пусто и ясно.

— Тимур Ильдарович, — сказала она. — А почему поезда не ходят ночью?

— Ходят. От часа до пяти — окно. — Он светил вперёд. — Мы за ночь должны успеть то, что нельзя сделать днём: заменить изолятор, проверить рельсовую цепь, снять замеры, помыть облицовку. Всё, что требует, чтобы поезда не ездили.

— И если не успеете?

— Тогда окно продлевают, и утром первый поезд выходит позже, и у людей срывается утро. — Он помолчал. — Поэтому у нас всё по минутам.

СЦБ-шница остановилась и подняла прибор.

— Тимур Ильдарович, тут занятость на третьем участке. Ложная.

Асланов тотчас повернулся.

— Покажи.

Она показала: на её приборе горел красный.

— По графику третий участок свободен, — сказала она. — А рельсовая цепь показывает занятость.

— Что это значит? — спросила Аня.

— Это значит, что где-то в цепи проводимость, которой быть не должно, — сказал Асланов. — Или изоляция пробита, или кто-то поставил перемычку.

— Перемычку?

— Шунт. — Он смотрел на красный огонёк. — Кусок провода между рельсами. Тогда система думает, что на участке поезд. И красный свет горит.

Аня стояла и смотрела на красный огонёк, и в голове у неё что-то соединялось.

— И что тогда делает поезд?

— Поезд останавливается, — сказал Асланов.

— Всегда?

— Всегда. По правилам.

— А если машинист думает, что это ложная тревога?

Асланов медленно повернул голову.

— Тогда он едет, — сказал он. — На двадцать километров в час. И смотрит вперёд.

Они стояли втроём в тоннеле, и красный огонёк горел.

— Тимур Ильдарович, — сказала Аня. — В четверг четырнадцатого октября утром вы вели состав от «Северной» в депо. Вы стояли на «Театральной» минуту сорок. У вас был красный?

— Был жёлтый, — сказал он. — Я же вам говорил.

— А на подходе?

Асланов молчал.

— Тимур Ильдарович.

— Был красный, — сказал он тихо. — На подходе был красный, и я сбросил до двадцати, и через двести метров он стал жёлтым. Я записал в книжку «ложная занятость, участок три, вечером проверить». — Он смотрел на неё. — Я не проверил.

— Почему?

— Потому что днём у нас нашли Аверьянова, — сказал Асланов. — И всем стало не до рельсовых цепей.

* * *

Щитовая на «Театральной» была в конце служебного коридора, за железной дверью с надписью: «ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН».

Дверь была не заперта.

— Она всегда не заперта, — сказал Асланов, но голос у него был не совсем спокойный. — Тут не люди ходят, тут ходят те, у кого допуск.

Внутри было тесно и жарко. Щиты стояли в два ряда, и в них гудело, и на полу лежали резиновые коврики, а на стене

висели диэлектрические перчатки, каска и длинная штанга.

Аня смотрела по сторонам и запоминала.

— Наряд-допуск, — сказала она. — Где они висят?

Асланов показал на стену у двери. Там висела папка на гвозде, и в папке лежали листы.

Аня сняла её и стала листать.

Наряды были одинаковые: бланк, фамилия, работы, время, подписи.

И на четвёртом листе она остановилась.

«Наряд-допуск № 217. Работы: проверка и ревизия щита ЩС-3, замена предохранителей. Производитель работ: Семёнов А.А. Допускающий: Ковалёв И.П. Время: 13.10, 02:00 — 04:30.»

— Тимур Ильдарович. — Аня повернула лист. — Кто такой Семёнов?

Асланов подошёл и посмотрел.

— Не знаю.

— В вашей службе есть Семёнов?

— У нас есть Семёнов, — сказал он медленно. — Александр. Он на пенсии с прошлого года.

— А это когда?

— Тринадцатое октября. — Асланов поднял глаза. — Ночь с двенадцатого на тринадцатое. За день до убийства.

Аня села на ящик, который стоял у стены.

— Значит, в ночь перед убийством кто-то работал в щитовой по наряду, выписанному на пенсионера, — сказала она.

— У вас тут так можно?

— Так нельзя, — сказал Асланов. — Так невозможно.

— Но наряд есть.

— Наряд есть.

— И что он делал? «Замена предохранителей». — Аня прочитала ещё раз. — Это опасно?

— Это ерунда. Предохранитель — это копейки. — Асланов помолчал. — Но если в щите ЩС-3 заменить предохранитель на другой номинал, можно сделать так, что при перегрузке он не сгорит, а расплавится кабель. Или наоборот: сгорит раньше и выключит весь участок.

— То есть можно устроить отказ?

— Можно устроить отказ, — сказал Асланов.

Аня сидела и смотрела на щит, в котором гудело.

— Тимур Ильдарович, — сказала она. — А кто мог выписать наряд?

— Начальник участка. Или его заместитель. Или... — он остановился.

— Или?

— Или тот, у кого есть его электронная подпись, — сказал Асланов. — У нас наряды теперь в системе. Можно выписать из кабинета.

Аня достала телефон и набрала Ремезова.

— Илья Андреевич, у меня наряд-допуск. Тринадцатое октября, два ночи, щитовая «Театральной», производитель работ — пенсионер, который год как не работает. Подпись

допускающего — Ковалёв.

— Ковалёв, — сказал Ремезов. — Начальник участка электроснабжения. Он живой?

— Не знаю. Я его видела в понедельник на селекторе.

— Хорошо. Снимайте копии. И уходите оттуда.

— Илья Андреевич, мы ещё не всё посмотрели.

— Аня. — Он помолчал. — Я вам скажу одну вещь, и вы её запомните. В любой системе есть журнал. Кто выписал наряд — есть в системе. Кто открыл дверь — есть в системе. Не надо искать убийцу в тоннеле. Надо открыть журнал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.